

Иван Шмелев

Няня из Москвы

I

...А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то как у вас, барыня, – и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я попимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... – дом у вас чисто дворец был, – они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономка ваша... носастенькая такая у вас жила, – Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна...? – чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, – любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видать... – воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все – как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я – больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидела – не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, – ну, чисто Царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, – «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» – так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, – прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамы с ними перешла, в приданое словно, – уж как за свою и считали. А помирал когда барин, – Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, царство небесное, Господь с ними. И малинку сами варили, барыня? Мاستерицы вы стали, обучились, – ягодка к яголке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то театры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, – «все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж 'так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, – купи мне яблочков, вареньица я сварю, – так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не

дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадца-том этаже, чисто на каланче, – ну, огня и не позволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!.. – в окошечко как. глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, – ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, – как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой – сама бы не поверила. И чего же надумала, – на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, – не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и портреты с нее сымают... – понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему – уж зве-зда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать – не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне, – опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одине-шенька – так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам – по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» – карактер уж у ней стал портиться. Просилась у ней – «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сижу, слезть-то одна не смею, сижу-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготовляют... вот-вот, в снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этаже, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговки надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, – смерть чайку захотелось, – приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидавать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартирку, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебен, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В имени у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить, память старая – наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а именье их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит: – Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили – и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнить. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою намеренно в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повзросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше – в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, – дочка у них за рестораником нашим, – ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, – не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-знать чего надумываю: вот, дожילה... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я – плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угодникубатушке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне – пойду поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули – «няничка!» И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас ни о чем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, – «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, – и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, – открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая! – все он меня так – мамаша дорогая. – У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» – так все говорил. – «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель

душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась, – помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился, все меня утешал: «Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше Уезжаем, бел-свет увидим...» – все меня развлекал.

А его другой сын выписал к себе, в ихние Палестины, в Старый Ерусалим, – и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то – на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорыч. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, – роман и роман страшный. Уж как все расканителится – не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были – поехать надо, Ночи не спала, все думала – поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... – «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» – дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне – скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся, – завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им – а-дрист улетел, ф-фы! – поняли, пожалели – не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поинтересовался, признал – русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я, прямо. Довез акурат до квартиры, ни копейки не взял. – «У меня, – говорит, – мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел. В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуций, лизун. Это он меня так прозвал – и-дол! – осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, – то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня – «идол!» – говорит. А Катичка после сказала – «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, – «иконка ты моя, не могу я без тебя!» – это уж как разнежится. А тот на меня – идол! – почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А богаач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел звонками. Много уж за

сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, – не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей – «навязался человек, без пути ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают... – уж она показная стала. А денег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье миллион сделал!» А она повернулась так, гордо ему – «что мало?» – и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо. Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала – господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы – и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, – помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил:

«Я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, – говорит, – мне изумрудный поднесла!»

Может, что и напел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего насажут. Краснобай такой, балахвост. Катичка ему – «а, пустая вы балаболка!» – а он в ладошки – «поклоняюсь, поклоняюсь!» – никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

– Это Медынкин на меня сердает – и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспременно разыщу!

Разыщу, говорит, – так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтителный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспаспортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, – Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, – он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все – «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!...»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так:

«Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолится, на коленках даже стоял, – не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил. «Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. \ Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспаспортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытаться в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не

достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова... – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?., нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?... Правда, уж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспременно деньги имеются».

Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспременно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?., не секретные, а... Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далишу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, брильянты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А собирается, не раз поминал.

Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думатся так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенок, да что вот партретик оторвался.

«Теперь бы, – говорит, – этот перстенок... на автомобилях бы раскатывал».

III

Про Васеньку-то я вам... А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именищем. Сами знаете, какое у барина именище было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакейстаричок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги тетקיны, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные... а хорошие были люди, грех похулить.

Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одетая любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую!

Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила... с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукуются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами.

Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:

«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»

Барин поморщится, скажет:

«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все так:

«Это же наш долг, Костик».

Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахалю одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:

«Ай, няничка... ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»

Все мне, бывало, доверялась, я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?... В доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было... в глаза я барину не могла смотреть, измучилась... за грех такой обещание дала сорок раз к Царице-Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня теребит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река... А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил... под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла, – они на Катичку и выпрашивали. Да много было... А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните небось сами... барыни-то ему покою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу... я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копейке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси. «А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги... у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».

Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то... Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.

«Няничка, – скажет, – труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая...» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо... ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.

А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфеты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и... – ведь это что ж такое! У барыни,

где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет... А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится – «как так нет? где-нибудь должны быть... в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.

IV

Про Васеньку-то я вам... Соседи по именицу, Ковровы. Стало Катичке счастье тут выходить, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать... кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все: «Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:

«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»

Ссердцов, понятно... тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убежал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, экономка, бывало, скажет:

«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадам повезла».

Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора. А вы приехали, все-то в снегу, раздумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня... и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были... прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили... засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня... да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли... за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые... Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.

И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда.

Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жида, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамыши наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было... тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорила. Обиделся он, шукурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты нриписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатали на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатали на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки... столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.

V

Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кровати, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого^ купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу... – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так я распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:

«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная... не к добру это».

Дернулась она, да с сердцем на меня так:

«Что ты мелешь? почему – не к добру?!...» – а затревожилась.

«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают... думается так, по-деревенски».

«А, глупости... любишь всегда тревожить!»

А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело... ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить.

Привезут в карете, давай угощать-улащивать:

«Ах, тетечка... ах, милая... совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно... а мы-то скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душистые, по зубкам вам... а Катюньчик без вас жить не может...»

Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей... А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на

коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдывать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись... И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все... А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать собираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлечь... И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!

Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть...

«Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесил?...»

А она часто мирила их. А он рыдает!..

«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тень!..»

А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит...

«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!..»

Она сразу тогда – де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят – и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка... ах, славная дите!» – так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она – и похоронить не в чем было, – в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник заместо того отдали да царский портрет большой, старого царя.

А именице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорит Катичку по-их, нему учила, гордая да капризная... – все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбись в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала – «всегда для вас все готова сделать!» и что же, барыня... ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! через ее мы англичанами чуть не стали, в Костинтинополе когда бились... Она бо-звать чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили... ресторан такой. И свой корабль у них, страшенные богачи... И вправду, уж я по порядку лучше.

Да, так вот тетеньку и похоронили.

VI

Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутушнику сказывал. А бутушник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал... рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчущечек... – придет и шепнет:

«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».

А то на Арбате. А барыня и не чуёт. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашёл. Да какие же сплетни, барыня... живая правда. А барыню до страсти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили... барыня мне не сказывала, а барин её корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела... а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин её сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя... ды-ах, цыганочка моя... ах, перышка моя!..» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопади, ну и... – «у нас, – говорит, – кровь играет... на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала... расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.

И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных... На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомянуть. Андра-шкина...? Помнится, была... Кто ещё? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова ещё, в ресторане-то застрелилась, в заграницу её увезли после. Да Господь с ними, барыня... Нет, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, может, слыхали... у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то... от мамы Катичке досталась.

Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациентки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось... и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а... расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациентки. Растревожится она, закричит:

«Негодник ты негодный, бабник ты, ю-бошник... не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:

«Ты что, милая... белены объелась?...»

Она ему в лицо шварк – письмо!

«А это что?!.. Негодный ты, порститут!..»

Повертит письмо, плечом подернет...

«А, стерва... – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки её не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..»

Она и рассохарится, поверит словно:

«Да-а... – скажет, – актерщик ты известный!»

Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое заседание, на всю ночь. У них ученые заседания были, и ещё казенные заседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего... только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали... барыня все сулилась: «Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, поновому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет... и всем тогда хорошо будет... и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем... партию делаем, для всего народа чтобы».

Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уедет он в заседание, и она в свое заседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как... и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет: «Ах, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»

А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите... а уж такая была красотка! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа... так это с капель у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка... посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую, – «ах, галочка моя... ах, бабочка моя!..» – всякие приберет слова. Скажу ей – Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то спокой найти, о себе да о себе все, бо-звать чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит, – нет ничего, все концы умел схоронить. А то прибегла ко мне, – веселая, – «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:

«Что ты, старая, заладила – Богу-Богу!..»

И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила, – молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили – попрекала:

«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все вверх ногами стало... с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»

А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками, – старое ей все поминается. Скажешь ей – а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вида дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то – лучше меня и нет.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

«Бог-Бог... что ж он мне не поможет, твой Бог!» – чумовая будто.

Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали, – астеричная ты! А то косы распустит, – а волосы у ней чуть не до пят были, – обкрутятся ими, шею замотает и кричит незнамо чего: «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь... себя и его убью!..» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему – «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало, – грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, плачет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское... а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цветное... и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, саше. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлекется. Миллионерки были, всем соблазнить могли. А бриллиантам завиствовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно... горелито на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила... разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу... а всякими, бывало, словами... мне уж и говорить стеснительное. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою... И хитрая-то

она, и фабрикантша фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая такая мисалиная... а все, бывало, так – мисалиная... И ноги лаптем, и кукла золотая... – уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!.. – й чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие... А вы куклу Катичке заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки... она их всердцах в этот... в клазет спустила! В кла-зет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу, – она их и спустила. Барин ее кали-ил:

«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие брилианты!..»

Цену они уж знали. Не помните... А я упомяла, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..

«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»

За заставу покатыл, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари, – барин им посулил, – не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И партрет ваш на столике держал. Барыня схватит – и в нос ему:

«На, повесь в угол, молись на свою святую!»

А он ей смехом:

«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты... да одну ведь тебя цену, как золотой алмаз!»

Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.

VII

Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала... ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении, – много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да театры, и обхождение такое, вольное, – телу и беспокойно, на всякую хочу и потянет.

Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки, – будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя, – испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда... и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть, перетрогал он ее,, от стыда помаленьку и отучил. А она – хи-хи-хи... – чисто ее щекочут. Вольные платья сталашивать, – стыд и страм. По портникам, по модисткам... вырядится – страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..

«Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож... возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня... а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как почувствовала, станет его просить, руками укрывается:

«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» – и хохочет.

А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее оставил, и говорит, чисто ее хозяин:

«Вы беспрерменно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»

Вмиг собралась – покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу... – сама не своя, уж он ее испортил. Два дни из спальни не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об

стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?... Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась, – и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится – не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть... – за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаздо свой, не дареный... белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно... что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, – из глаз глядится.

Да чего, барыня, приятного тут?... Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смиренный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса длинные, на грека похож, и с бантом с белым, а только тихой. Греки – они шу-мные, я их знаю, в Костинтинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем!» Офицер наш один все их дражил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»

Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку – и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза пялил, правда. В зерькало раз видала, как она его в маковку поцеловала... а он глаза так, через лоб, и воздохнул. Ну, в налехции с ним ходила... Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано. «Как ты смеешь письма мои печатать? – она ему. – Тут ошибка, ничего я не понимаю...» «А я, – говорит, – понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.

Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.

VIII

И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?... А вот чего я думала. Наше семейство взять... Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет, хоть ты ему тыщирастыщи положи... очень по закону понимал. А барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно – в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидели... выбегли на мостовую прямо, кричать, – в участок хулюгана-негодяя, в протокол писать!.. – животные были попечители... были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: «звери-звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.., не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим... все кончится!» Заплачешь – на них глядеть. Вот, думаешь, как по-божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочу-ствовал... вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил... пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел... сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял, – только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков... мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.

А иной раз думаешься – сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня... И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон. Барыня все мне говорила, как и вы вот... – такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не грехи. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли... Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она – «лодырей разводите! на попечительство даем, там уж знают». Да не– все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Странницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда, – как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок... – вспомнить страшно.

Ах, барыня... у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попроситься... от заразы, будто... – и похоронили не сказавши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин тоже, от сострадания... а думается мне – грех и грех.

А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали... у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали... и мне дадут. И придет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок... за грех! Да я не осуждаю, барыня... а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека... а вот.

Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там... а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал... я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю... так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил... открылся – плачет. И пошептал мне:

«Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия... и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».

Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?... И что же, барыня... отплатилось, так-то им отплатилось...! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мы-то теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается... и в церкву стали ходить... – все у Него усчитано.

Ночью проснешься, как все-то вспомнишь... – да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные... оттуда гонят, туда не допускают... В Костинтинополе жили мы.

вот напугались как, слух прошел, – хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? – говорили все, – да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам – самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то... Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила... такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то

я... – проснешься, Го-споди, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям... покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал... не забуду и не забуду.

IX

Да, про Катичку я вам... И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не позволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила – и к папеньке. Он меня, – а он высоченный, как жандар, был, – за руку меня, загорячился: «Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюньчика пальцем тронуть, – духу твоего тут не будет!»

Через полчаса обошелся, в руку мне три рубли:

«Прости, Дарьюшка, за горячку... пропадет Катичка без тебя».

Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.

«Не смей Катюньчика глупостям учить, – барыня мне, – в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».

«Да не мои, – говорю, – молитвы, а Господни... она не поймет. Он зато понимает и не подступится».

«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека... она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!

«Да какой же это мой Бог... опомнитесь, барыня! – говорю, – один у нас у всех Бог... Исус Христос!»

«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»

Стала ей внушать, как Же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она... надо ее по-божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?... Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церквы была, так руку, бывало, и оттянет:

«В телькву, няниська, в те-лькву!...»

Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками, – божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:

«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»

Уж такая была смышленная да вострая... Я ей и накажу строго:

«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора». Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:

«Не скажу-у... мамотька Боженьку не любит, а мы любим».

Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать – слушать страшно... про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала, – одинаки, говорит. Барин и то серчал – рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу – нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плевать! Скажу ей строго –

«в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит. Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее стращать, а к ночи было:

«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»

Она – кричать-биться, полог на кровати изорвала.

Барыня на меня – «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет – я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, – она смеется:

«А вот и скажу завтра мамочке... крестила ты меня!»

Стало уж мне с ней страшно, – ОН уж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила, – она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобравши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:

«Ты, хамка... посмела лица коснуться!..»

«Погодите, – говорю, – скоро она и вас примется колотить».

Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужасалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила... и они тоже в Бога веруют... – и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке.

Я им и на мису указывала, – глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.

И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извощика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдадут: «Катичка тебя отпускать не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить, – в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются – и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охалку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит – сразу и приведет в себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, – и обидното, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку... – хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:

«Клянeshь нас, жалованье не отдаем... лучшего места ищeshь, на нас и выискиваeshь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало...»

«Бога-то побойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю... а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалееете, говорите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите...»

За голову она схватилась:

«Стыдно мне перед тобой, няничка... стыдно!..»

Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воеет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает, – страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой – она и стихла.

«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой... дрянь мы! И нет мне покою, и всего ложь, и Костик меня обманывает...»

«Бога у вас нет, – говорю, – и покою нету. Худо у нас в доме, ху-до...» – все ей и выложила. Так она и встрепенулась!..

«Чего ты каркаeshь, чего худо?.., что ты думаeshь, умрет кто у нас?...»

В Бога не верили, а такие-то опасливые, – судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом волю свою указывает, зараныпе. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице – назад, Федору кричит, в объезд. А по нашему, покойника встретить – всегда к добру. Ну, другое дело – свадьба... Все-то у них навыворот.

Да... так и встрепенулась:

«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?...»

«Образов у вас, – говорю, – нет в доме, у вас все может быть».

«Что – все? что ты меня пугаeshь? про Катюньчика чего чувствуешь... что – худо?»

А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится – будет и будет худо. Катичка и заболей скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..

«Ты накаркала... ты все!..»

«Опомнитесь, барыня, – говорю. – Господь видит, как же я могу скарлатину сделать?»

Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».

А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят – была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит, – дойдет вам черед дня через три, а куда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда хочешь – тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила, – она и уснула, хорошо так. Поутру глядим – она уж и повеселела. А доктора и говорят, – теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете... не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали. Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела... с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на театры когда училась. Может за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то... – «умней тебя, нянь, нет!» – это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет... Такая умненькая была, – юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила, – хочу и хочу в театры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили... Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж...

Х

Стала Катичка на театры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-знять чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы...! Один все себя в грудь бил, кричал все – «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» – а барин... надоели они ему, – насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:

«Волконалия у нас стала!..» – шум его беспокоить стал.

Да жадные все, голодные... – со стола так и не убрали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и короводились, все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода такая завелась... почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось – всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея... все припевал – «горчишник я ширлатан!» – а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил... колечко-то и примочил. А как скажешь, – друзья-приятели! Ни время, ни порядку, – постоянный и постоянный двор. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вот... пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал, – баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что... подушки со всего дома на ковры навалят, шалями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки... на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают... все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота... и вино из кувшинов пьют, и

все-то наговаривают, и все-то кричат – «мы боги! мы боги!..» – сущая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают... – большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня... не с пляски они, большевики... а – к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда... а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл... – закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидел, – за руку его в прихожую вывел да в ше-ю... и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне – кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:

«Не лезь не в свое дело, глупая... не понимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всех и разговору – искусства-искусна, искусна-искусна... – а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала, – из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить. И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенток порастрес, – хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых солдатиков навещать. Правду сказать – старались. Как первую партию привезли... а у нас актерщики были, и читатели, в стихи читали... высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши... молодчики наши папиросок им, бутенброты, нахваливают... за нашу Россию стараешься... очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался – «а страшно умирать, а?...» А солдатик, вежливый такой, – «страшно – нестрашно, – говорит, – а требуется!» – полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит – и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, – ну, барина прямо наразрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенток не было. Да Катичкина еще орава, – ну, непротолченная труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота, – чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ... все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старалисьутешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне: «Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня язык, только отмахивается:

«Война, всем надо помогать... надоела, не твое дело!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:

«Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарок, и колбаску, и все протчее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»

Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный, Головковто... хироносец был! А такой, хирурги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не знал, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели... нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорил барину – теперь можете не платить, когда

еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вот где это Дунай-река-то... Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала... Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.

XI

Да вот, представлять они стали... Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, – не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует... что ей шешнадцатый только годок шел... и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а... на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать... так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, громадные, живые такие... Барин все ее так – «ах, черные миндали, зажигают издали!» – пел все. Барин у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, – «каштанчики мои», – все, бывало, так звал. А личиком бе-ленькая-разбеленькая, сквозная вся.

Уж барин ее нахваливал! души не чаял, – «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все так. А может, и маркизочка... забыла уж. И что такое?.. ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза... будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет... – откуда набралась! А то пройдет, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится:

«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»

Посмеюсь-скажу:

«У кого какие, а у тебя такие».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие... Да не умею сказать-то, как говорили... нет, не выразительные, а истомные, что ли?... По нашему сказать – с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик... вот не любила беса!.. – тогда еще все внушал – «у вас глаза же-нщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно, – «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит, – будто она спросонков. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоватьсято... а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то – уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.

«Ну, чего пялишься-то как нескладно, – скажу, – чисто ты пьяная!»

И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского прынца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфектами завалили, вот какие коробки!.., и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах – беговой богач был... приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилехтора бывали, и генералы... – мед-то как завелся, так вокруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не закрасишь... видно, что битан посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И

печенье ему выберет, скажет – «вот, любимое мое!» А он ей тоже – «теперь и мое любимое!» и цветочек в петельку ему, и душками попрыскает, илиотропом, любимыми... Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели, – начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте, подумаю... я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посылал-посылал цветы, да и простудился, помер, – у училища все дежурил, где театрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был... из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писем у ней было... полна шкатулка. А духов бы-ло... как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет, кожу щипет... голова кружится, не войдешь. Барин, бывало, – «дай-ка, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила... Приду к себе спать ложиться, – не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно, – платье мне обливала.

Ну, все влюблялись. А молодые – так, высуня язык, и ходили, как опоеные. Чего ж один изгораздился для нее... Велела она ему из зологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку Лисицыну продрал и потащил лисицу, – она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали – она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь:

«заткнись, старая улитка!» – истинный Бог. Спать ложиться, – ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей... – шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька, – смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает: «А что, нянь...» – это когда в духе, ласково всегда – нянь, звала, а то все – ня-нька! а то еще выдумала – ня-нища! – «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нет?»

Насмех и скажу – попова дочь лучше. Шутки-шутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться, – издивисься, откудова набралась повадкам! Плюну-скажу:

«Страмница ты, бесстыдница... ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».

И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует... ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я... И вот тальма со стеклярусном у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет, – так ей она не ндравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то...

Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать.

Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком... – «Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?...»

И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:

«Ах, Катюньчик... и любима будешь, и богата... а вот счастлива ли будешь – это уж как Бог даст».

Затискается-заерзает, словно ей невтерпеж:

«Ах!...» – вздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:

«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она так вся и воссияет!

«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще... да какая ты му-драя... Василиса ты Премудрая!...» – И затуманится вся, зажмурится... – «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк... большого счастья хочу!...»

А выпало-то вон что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что' крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, покою у ней нет... и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать... – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На

солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона намедни, гляжу, на суку сидит, каркает... – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Поглядела, – не та ворона, не наша... у нас в платочке.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое... того забрали, того покалечило, того убили... у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла, – рыбкой который торговал... А у нас чисто балаганпир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... – так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись... Ну и скажут, бывало:

«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия... ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».

Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал... – и пироги им пекли на праздники, – так-то довольны были!..

И отыскала барыня в лазарете где-то полковника... такого-то орла-красавца, в крестах весь, – ходила она за ними. У ней и косыночка была – милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было... – он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пу-шек, – он и помешался от любви.

Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедется, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:

«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» – и руки к ней, вот так вот.

А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему – лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет... а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его... Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталя звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катичка. Да, забыла я... сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?..»

Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился.

Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого... Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, признавал. И вот тут у нас и случилось...

XII

Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было, – над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей, – да чего ж это такой делают-то, а?! да как так попускают!.. Пришел черный, огромный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать... – стук!.. – позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и расколосась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю – к худу. И Аксюша тоже – «ой, нехорошо как, к упекойнику!» Связала потом иконку,

повесила. Лица на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, – «ишь, – говорят, – как нехорошо!» Кончили они представлять, барыня и спрашивает, пондравилось ли. А они всегда деликатные с господами, говорят – «благодарим покорно, хорошо представляли ничего». А пошли к себе, мне солдатик и говорит, совсем молодой мальчишка... А он от божественного начитан был, хорошего семейства... вот он и говорит, баушкой меня звал:

«Зачем, баушка, господа такое показывают, это грех... про святого человека, Господа крестил, а она от него словно нехорошего добивалась, соблазняла! Иван-Креститель это, и так нехорошо, и во-ет!..»

Мальчишка, а понял, что нехорошо. И постарше еще пеняли:

«Чего бы повеселей показали, а то как голову святому отрубили! Этого мы на войне вдосталь нагляделись».

Так мне с того вечера скушно стало, думалось все – так это не пройдет. А на другой день Васенька Катичке предложение и сделал.

XIII

Он в ту зиму часто к нам наезжал, на рысаке, на саночках. И барин к нему очень располагался, и Катичка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше милиена стоил, и сколько именьев было, и еще уголь они копали... угольные земли были. Один сын у отца. Такой-то молодчик, черноусенький, бобровая шинелька. А ве-жливый... цельный мне кусок шелковой материи привез, серебристая-муваровая, да плотная такая, износу нет. Я ее в Крыму на мучку выменяла... не привел Господь поносить. На именины мне подарил, такой уважительный. Ну, прямо как королевич, лучше всех. Барин все Катичке шутил: «угольная ты у нас принцесса будешь!» Ей семнадцатый пошел, а ему полнолетие выходило, только на войну его не требовали покуда. На анжинера он учился, на иликтрического. И Катичке словно больше других он нравился. Да набалована, про себя очень понимала, вот и взяла манеру его дражнить. Скажет – заезжайте беспременно, буду вас ждать, – и час укажет. Заедет, а ее нет. Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться: «да вы всегда напутаете, да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась...» А у ней семь пятниц на неделе. А то – «артисты меня провожали, совсем забыла!» А он у нас уж за жениха считался, только от него разговору не было.

На масляной, – другой, никак, год войны был, – приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал... солидный такой, в бобровой шапке, большая борода, с проседью, – князь и князь. А зараньше сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили, – уехал. Вечером барин и спрашивает Катичку:

«Вот какое дело, решаю судьбу. Я поблагодарил за честь...»

«Какая-такая честь?... Это для них честь!..»

Сказал ей, глупой, так всегда полагается, благодарить. Да как же не честь-то! Семейство хорошее, милиенщики, тайный он генерал был, вот он какой был... вот-вот, советчик. А у ней тело-душа, больше ни шиша, дюжины рубашек не наберется, мамашенька все не удосужилась припасти. И так всем понравилось, как Васенька благородно, через папашу, а не то чтобы... взял под ручку – и волоки к венцу.

«Ну, как же ты думаешь? – говорит. – Василий Никандрыч приедет завтра... Как ты думаешь?...»

Заюлила она, затеребилась, в зерькало погляделась...

«И чего это предки... – ишь, слово какое исхитрилась! – чего не в свое дело путаются! Хорошо, приедет – поговорим».

Барин со смеху прямо покотился, поцеловал ее.

«Откуда у тебя такие слова... артисточка ты моя!..»

Пондравилось ему очень, какие слова умеет.

«Я, – говорит, – сурьезно говорю... в какое ты меня положение поставишь, как откажешь! Лучше по телефону предупредить, как-нибудь...»

«Я, – говорит, – не думаю отказывать».

Так мы обрадовались, барыня расплакалась, что вот уж и выдают. И Катичка губки подобрала, уставилась глазками в пустое место, умеет она так. Известно, судьба подходит – каждая девушка себя жалеет. Заплакала я, пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастья... радость-то ведь какая! А мамаша у Васеньки померла, вдвоем они жили. На что уж лучше, – сама себе хозяйка, и к свекрови не привыкать... ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним.

XIV

Говорят вот, барыня, – богатство-богатство... и на погибель оно, и к лени приучает... – по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала, несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Костинтинополе. А генерал посуду со мной мыл, в «Золотой Клетке» мы с Катичкой служили. И Васенька, кем-кем только не был... а как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный... – вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золотом окуй – все свинья. Я к тому, что вот говорите – нищие да нищие стали. Это не страшно, барыня, нищим стать... страшно себя потерять. Граф Комаров вон, какой неприступный был, на человека не глядел, раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит... может, и во святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна, бельецо ему починить, а у него только и есть, что на нем, – бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился, совсем уж блаженный стал. И говорит – «садись, сестрица, чайку попьем... мы все теперь братцы и сестрицы, нас Бог сравнял... чума нас излечила, душу свою найдем, и наша Россия-матушка душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал. Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я, любопытная я... за дверью послушать стала, а наши уехали, не мешать. Он и говорит:

«Что вы, Катерина Константиновна, скажете... я прошу у вас руки?...»

А то Катичкой даже звал, а она его и Васькой величала, – раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет, дражнится, – до чего дружны были. А не ндравилось ей, что Катериной ее назвали. И барыне все хотелось... Му-за назвать. Барин ее засмеял, все так – «Муза-пуза»! Ради тетки Катериной назвали. А я песенку все ей пела, – баушка та, у кого я в деревне жила, певала:

Катерина на перине,
Перед ней стоит детина,
Просит Катеньку учливо,
Ты скажи-скажи, Катюша,
Скажи, любишь али нет?

Васенька ее и дражнил – Катерина-наперина! А тут сурьезный такой, узнать нельзя. И она тоже в сурьез вошла:

«Ничего не могу сказать, подумаю».

Он так и обомлел, шатнулся. И я... – ах, ты, думаю, ломака-ломака... да что ж ты делаешь-то!

Он ей опять:

«Могу я надеяться?...»

«Можете, – говорит, – надеяться».

Помялся-помялся... она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала... – а вот, доскажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она:

«Я ему не отказывала, я хочу подумать».

Хвалить ее стали, за характер. Ездил Васенька, ждал, когда надумает. На рождение подарок ей привез, царский, бриллиантовый кулон, за пять тыщ. Барин ему еще попе нял, как такие подарки дорогие. Извинился он, а кулон у Катички остался. И пошла эта канитель.

Она все с актерщиками, с подружками, а они вольные, никто ни во что... ну, ей и набили в голову: такая молодая, да что, дескать, связывать себя... не будете теперь на театрах представлять, – турусы на колесах, из зависти. Потом сама мне сказывала. А первый заводчик – такой неприятный человек, актерщик тоже... вот не любила я его!.. Лицо у него обсосаное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь... все за Катичкой увивался, а сам женатый. А знаменитый будто... барышни все его портреты покупали, а плюнуть не на что. И у Катички над постелькой харя его висела, а рядом картинка-Богородица, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело!.. Люди какие-то не настоящие, синие все, головы скошены... не поймешь – метлы не метлы, и снег синий, нарочно все. Ну, песья морда, а все влюблялись будто. А Катичка так перед ним и трепетала... – чем уж заколдовать так мог! Вот через того беса все и пошло.

Ну, ездил Васенька. А характер у него благородный, покорливый, даром что богачи такие. Приедет – посидит, а она по Москве шлендает, время не знает. На Пасхе он ей и говорит: «Ответьте мне окончательно, я должен решить важное дело».

Она ему три дни сроку дала. Ну, приехал, она ему вынесла кулон...

«Я, – говорит, – рано замуж не хочу... мне надо учиться на театры».

И давай свое: искусства-искусна... – ну, чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгоняли которого, в Америке... тоже ей все – искусна, ис-куста!.. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо... Он ей – полная воля вам, учитель, – все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой солдатикам варежки вязала, а они в рукодельном салончике. Слышу – стукнулось об пол чтой-то... гляжу в шелку, а он на коленях перед ней! А она сидит на креслах, чисто царица грозная, в глазастую шаль закуталась, как кукла спеленута, – хоть бы что! Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит. А бе-элая сидит, губки поджала... а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло... – будто это она театры представляет. Все, бывало, с бумажкой перед зеркалом вертится, наговаривает бо-знать чего, язык выламывает. Да еще меня спросит: «что, хорошо я представляю?» Скажу – ничего не хорошо, вся уж испредставлялась, на себя непохожа стала, бормота одна. Она и рада! Вот выламываться начнет, наскрозь все зеркала проглядела. А то руку вытянет, – «Смотри: как из слоновой кости рука у меня!»

«Ну, и что хорошего, – скажу, – у человека кость Божья, а у тебя уж слоновая стала».

Душить меня примется, хохотать. А потому и вышучивала ее, в ум чтобы привести.

В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит, – скажите мне последнее слово... – а она ему враспев так, зевает словно:

«Да я еще не зна-ю... да хочу себя уве-рить, люблю или не люблю-у...»

Тут уж он осерчал. Встал и говорит, твердо так:

«А долго это будет, когда вы себя уверите?»

«А это как зависит... может, и год... а может – и пять!..»

Чуть я не крикнула – ах, ты, ломака-ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно...

хороший человек страдает, а она – в зеркало!.. Он походил, пальцами потрещал... А она головку так, и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит:

«Прощайте, и будьте счастливы».

И пошел. А она вдогон:

«Погодите, не уходите...»

Он сразу обернулся, а она на столик показывает:

«Вы забыли... возьмите ваш кулон».

Так он и озирнулся! Сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала. А картузик он забыл, – на лестнице окликнула, отдала. Только ушел – Катичка ко мне:

«Что, ничего не сказал?...»

«Ничего, плюнул только! – и сама плюнула. – Швыряйся, матушка, прошвырнешься».

«Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка!» – мне-то.

Навязалось на язык – улитка и улитка. Плакала от обиды: вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что, за мокрохвостой, перестирала... – и теперь я улитка! Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко у ней доброе... а обидно. Да что, к тому и шло... а вот что людей людьми перестали считать.

Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали... как старичка мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее... Без шапки он, лысенький, прикрыться нечем, а они его держат за руки, и по шее, по шее... Никто и не заступился, – он, говорят, генерал! Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, – не золотарь.

Крикнула – «старого человека, живодеры...!» – чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный, с садиком, и курами на покое занимался. Как царя смещали, хавос-то пошел, бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел' к воротам, стал резонить, дурами и назвал. Его бунтари схватили – и давай! Выпустили после, а никто и в портокол не писал, билито его... полицию уж разогнали. Ходила его утешать, – яички мы у него свеженькие брали для Катички, – он мне и жалится:

«Два сына воюют, а отца тут бьют... – и заплакал в яички. – Теперь нам-старикам помирать надо».

Скоро и помер, в голову ему кинулось. И лучше, помер-то... дальше уж не видал, самого света-представления.

XV

Ну – улитка и улитка. А то – «выметайся-выметайся», – чисто я пыль какая. Да любит она меня, а к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня... сущую правду говорю. Вот, барыня говорила-то: «для бедного сословия хлопочем!..» – а вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали, а... с кого спросишь-то! Они из книжек все, жизни нашей не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из заграницы приедут – вот нахваливают: чи-стый рай там, никого не обижают, все друг дружке вы-кают... и жалованье всем какое, и умные все, и благородные... у нас бы так! Раздумаешься, – несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь! Повидала-ла теперь... в Крыму еще повидала заграничных. Все понятие повидали с Катичкой. Ни в жисть бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня, старуху, за ворот... да щеголи-то какие, на острова как нас вывезли из Крыма. Катичка так и ахнула, что они говорят про нас.

Стали нас выпускать... Это уж как мы сколько ден у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто. А которые говорили, – пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить... исхлопотал нас кто-то. А сколько-то тыщ казаков наших, потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на мукумученьскую. Хлебца им пожалели... А нас-то барыня... дочиста ведь ограбили! Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а округ нас на лодках ихние торгаши, хлебцем машут, выманивают!.. «Давай ба-ра-слет... кольцо давай, дипломат давай!..» – с голоду все отдашь. До ниточки раздели, у кого не было запаса. Повидали... Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немые, семьи все поразбились... у того девочка померла, та мужа не найдет, у того матьстарушка кончается... – ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам – в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили, в Крыму, из Катички. А на берегу они и стоят, такие молодчики, "хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями, – для почета, говорили.

Катичка и слышит, понимает ихний разговор... а они думают – все мы неучены, каки-нибудь арапы, не понимаем: «и чего к нам везут сброд этот... корми еще их, изменщиков!» Так Катичка и обомлела. А она огонь-порох, сердца не удержала, и крикни им... истинный вот Господь, она мне потом сказала:

«А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить! С младенчика и начните, с грудного вот!.. – на младенчика, правда, показала, – а потом вот старушку эту...» – и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то с хлыстом. А тут мурластый один, в золотых тесемках, кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катичке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех!.., утопите, утопите!..»

Напугалась я, ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те – от нее, картузы посияли, бормочут что-то, а она пуше пушит!

«Или рано еще топить?... Не все карманы вывернули, пользы мало?! Лучше зарежьте, съешьте!..»

А потому... все ведь, барыня, знать надо, в Крыму что они разделявали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли, за грош. Потом молодчики эти в гости к нам приходили, такие вежливые... ну, вот подите, лукавые какие.

Ну, хорошо... улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня – и давай по зале танцевать-напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью, – в подушки икает-плачет. Я так и знаю – примется меня звать. С детства у ней уж так: чуть что, и – няня! Слышу – ну, как маленькая когда была: – «ня-ань... подии...»

Вошла, села к ней на постельку. Она одним глазком выглянула, – глазки-то у ней сухие.

«Скажи, не застрелится он от меня?» – в подушку, стыдно уж ей меня.

«Есть с чего стреляться! – говорю, – завтра за него первая графиня выскочит, не тебе чета... мигнет только».

Ну, чисто я нагадала! А вот, послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазками... – «Завтра же прибежит».

И просчиталась, больше и не пришел. А она все окошки проглядела, два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, – так и бежит. А барин и прочитал в ведомостях, – на раненых бриллиантовый кулон пожертвовали, и пропечатано так – «от русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем пондравилось, благородно как поступил. И Катичке пондравилось. Поджала губки – и говорит:

«Как это красиво... я его уважаю...»

Я еще ей сказала:

«Не красиво, а доброе дело сделал... а красива-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя».

«Как так похоронил?!»

«А так. После покойников все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал, – сам бы и прогулял. Какой-такой... а на стенке пришиплен, молишься на него».

Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший... А у барина долгов... сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался, с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: умеешь, дескать, себя ценить. Королевича, что ли, ей, – ценить-то! Набили ей в головку... А я, про себя сказать, чего ждала... Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески... – вот, гнездо завьют, к Катичке перейду, за хозяйством попригляжу, детки пойдут... Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело, и к Катичке я привыкла. Она все мне, бывало, сулилась:

«Вот, нянь, погоди, выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам...» Это еще когда ей годков двенадцать было, вон когда, рассудительная была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил...»

Что уж теперь, честь-честью... Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не придет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки... и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь... и не потает, бугорчков-могилочек не покажет... Господи-господи!.. Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское... с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашенных, пирожков с яичками, кваску бутылочного. Весь день проведем, бывало, на могилках, родные у ней там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Че-ремухи, рябинки, бузина-а... и вербочки уж, зеленые-зеленые... и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, к заборчикам... на щи зеленые наберем дорогой... Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам... весело так, и помирять-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки где горят... тишь такая. А к вечерку как пойдём, у прудов заросли такие... Пасха ежели поздняя, соловушки поют! Ну, что ж это такое только!.. И везде народ, родное все, барыня... и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут... что уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем... – и очутишься бо-знять с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а думается так, поживому...

Да-а, сама тебе глазки закрою... Одна осталась. А в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин меня все в богадельню обрекали, а там тоже не сладко, в какую попадешь, а в иной и заплачешься... характерные старушки тоже бывают, с утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые, – вот и живи из милости. А я уж обывала сама по себе, на полной воле, захочу, – к утрени пойду, захочу – самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком... Ну, так все и расклеилось.

XVI

Да как загостились-то я у вас, барыня, разговорами занялась, а уж и темно скоро. Да как же так, ночевать... вас-то, боюсь, беспокою? А барин не осердится? Ну, дай им Господь здоровья. Уж такая голова, народу что кормили, на фабриках. Сорок тыщ?! Подумать страшно. И на всех хватало, каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где ж упомянуть. Пройдут они, сурьезный-то-сурьезный, а мы так и затрепетаем, – как царь прошел. И граф Комаров вот тоже, какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чисто икона в ризе, а теперь куколки вон красит. Ну, что ж, если не скучно, доскажу вам.

Сколько-то прошло, барин и узнал, – Васенька на войну охотой своей пошел. Катичка и говорит – это через нее он, отказала-то ему, – и словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай Бог. Зачем-то его в Петербург потребовали. Барыня мне шепнула – на казенное заседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все, – все вот и развалилось, барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить, – монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо. Солдаткам от казны паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на трамвай, – видано ли когда! – и на заводы баб стали принимать – в бонбы порошу насыпали, по три рубли на день получали. А уж рядиться стали!.. – прямо все бабы посбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы... ну, и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на «пупке» творилось! А такой бульварчик круглый, «пупком» прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки... уж наряд стали посылать, с ружьями, разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить... дверь в магазин открыта, все и слышать, какие все стали смелые: про царя говорят – слушать страшно. А Головкин очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял, за закон. Спориться начнут, а он горячий... – Авдотья Васильевна так и затрясется вся.

Барин приехал из Петербурга – все руки потирал, – «скоро, говорит, все перевернется!» Уж ему главное место обещали, докторово. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Ужли, думаю, и нашему барину власть дадут? И своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам професыр ходил, в очках ничего не видел, и ему высокое место обещали, суды судить. Все, бывало, шутил со мной:

«Ну, няня, Богу за нас молись, всех твоих внуков обеспечим, все у нас по закону будет: и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать!»

И я ему, шуткой тоже:

«Да много законов писать придется, на нужное не хватит, батюшка».

На Катичкины именины представление у нас было, парадные гости были. Из Петербурга князь был, умный такой с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «ндравится тебе, вот бы царя такого?» А я еще ей сказала – да как же так, царя... на всех похож, и страха никакого, ногу на ногу кладет, и Катичка ему глазками все смеется? Им, может, и хотелось царя такого, знакомого, а на царя-то он непохож. Так вот и остались безо всего. А Катичка чужую царицу представляла: вся спина голая, и перья на голове. И бес тот был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу – все-то он за ней да за ней. А колидор у нас темный. Слышу – Катичка бежит. А я... за шубы я схоронилась, гляжу, – за плечики ухватил и в голую спинку целовать, взасос! А она только ежится. Я тут и не утерпела: «вы что ж, говорю, охальничаєте, в хорошем доме?!» Катичка – ах! – кошкой от меня, а бес на меня, скоком: «А, – говорит, – Агафья Матре-новна, – насмех так, – хорошо мы представляем, ндравится вам?»

Фукнул через губу, – все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь! А вот.

Дня три прошло, прибежала Катичка, сама не своя: шубка растерзана, в снегу вся, ботик потеряла, и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж, я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась и человека задавили, у Трухмальных Ворот, со страху с саней прыгнула, ботик потеряла, и все. А барин опять чтой-то прихворнул. Звонок в телефон: из участка, барина требуют, в протоколы пишут. За голову схватился, покатыл. А мы за Катичку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься, в Парки, и задавили человека, а она со страху убежала. Ну, хорошо. Воротился барин, лица нет. Шварк ей ботик и сумочку, и давай пу-ши-ить, никогда не ругался так. Что же оказывается! Троечник показал в участке. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам – Катичку щекотать! Она с испугу-то завизжала, троечник и оглянулся, чего это барин барышню забижает... солдат и подвернись тут под лошадей, – в голову ему оглоблей, волосья и сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городской под коренника кинулся и повис, а то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали, а Катичка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городовой сказал – с гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем. А в сумочке письмо было с нашим адреском, в участке и разыскали нас. Вот барин горячился...! «За гулящую уж принимают! Я и без того болен, – за бок себя схватил, – я, – кричит, – этому... – слово сказал про беса, не слыхано от него! – он известный на всю Москву!.. – опять то слово, по женской части, – я ему всю морду исполосую!..»

Катичка на коленки... – «Папочка, ради Бога не страми... он знаменитый...»

А барин разошелся, глаза не смотрят. Вот, кто он... знаменитый! – и опять то слово. Со стыда я сгорела. И барыня на него – не желаю слов! Барыню пихнул, убежал в кабинет. Какой уж сон, к ранней заблаговестили. Гляжу – барина шубы нет. Приезжает в десять часов – краше в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку, хорошая, замшевая, как рукавица, – рука у него огромная была:

«Нюхай, Катерина!.. – первый раз Катичку так, – по его похабной роже щелкнул!»

«С ума ты сошел!.. – так и взвизгнули, – такую знаменитость!..»

Он в них и швырнул перчатку:

«Лижите, дуры! теперь эта перчатка знаменитая!..»

Цельную неделю вздорились. Д я так и подумала: Господь это Катичку уберег, через солдатика. Посмирней она стала, и гад тот от нее отступился, барин-то пострашал. Одну беду отвело – другая. И тут все беды и пошли, до самого конца.

XVII

Под Николин день было. Наши в театры поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко всенощной. В одиннадцать воротились, и наши подъезжают, – рано что-то. Катичка – шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. А она барабанит, она звонит!.. Сказала ей – ну, чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой! – хлоп! – Мать-Пресвятая-Богородица!.. Барин вышли – «уймись, прошу тебя...» – будто застонул. А она, на весь-то дом... – «ах, надоели вы мне все!» – и убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает-морщится, и друг дружку упрашивают: «поди, успокой ее, узнай». А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она – «нянь, поди-и...» А дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькая, бывало, и затряслась. А я уж ее знаю – отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась... слезки, как градинки, кру-уп-ные, покатушки, – и глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была, мы все так играли. Я ей и пошептала бауточку: «дожжик в тучки, солнышко нам в ручки!» Она и улыбнулась, горе свое поведала: Васеньку в театрах увидала! Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая... милосердая сестрица. И не поклонился даже. А барин ей и сказали: это, мол, известная графиня, из алистократов. Она расстроилась, и уехали из театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. А она и говорит: «это они мне насмех, хорошо-о!..» Ну, вот. Хочу и хочу сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила – бросила. Гордячки там, графини да княгини, а я, мол, простая-смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да, шубы не сняв, по столу кулаком!..

«Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная!» – в голос закричал.

Барыня на него – «сам ты мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками, исказился весь: «В гроб вогнали! печенки от вас болят, подохну скоро!..» – и на диван повалился, застонул. И головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, – как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили, сил нет терпеть, боль очень. Барыня напугалась, стала его целовать, урковать, – нельзя так запускать... Приехали доктора – печень, говорят, опухши, вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня та служила, за старшую. Обучала, понятно, как-то: принесите то, подайте это, – дело сурьезное. А Катичка балована, забрала в голову: графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага – графине на войну ехать. Катичка и скажи, на людях: «женихов ловить ездят туда!» А графиня только и сказала: «жаль мне вас, как плохо вы воспитаны». Это барину пуще ножа было. Катичка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину! Тут на нас самая беда и навалилась.

XVIII

Сретенье, никак, было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела, и стало у ней воспаление, оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить, два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кислород дышать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачужала. Зачужала она смерть, стала

причитать: «ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается». А уж царя сместили, самый-то хавос начался, жить бы да жить, а она помирает. Кислородомто надышалась – такая блажная стала, страху на меня нагнала: так нечистый возля ее и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает – покоряется, а она из себя выходит, проклиная. Ну, что мне делать, одна я при ней, уговариваю-утишаю. А уж все кверху ногами стало, все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют... барина дома никогда нет, все заседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколот красным, дострасти рад. А домой приедет – на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал – управлять его позовут, – а его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дышать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколот, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин – какая счастливая жизнь открылась, все она так: «ах, хорошо! ах, замечательно-антересно!» – а поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпимши, и супругу привел, портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки... давайте мириться, и вот моя супруга. Ну, раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него.

«Без меня, – говорит, – теперь никто ничего не может, все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить и вам могу билеты выправлять задаром, куда угодно».

И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить, такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая, шепнула мне: «уж не знаю, куда нас вознесет, очень мы высоко поднялись, и Аполит Алексеич в министра хочет, очень я боюсь». Плакала даже. Это уж какой у кого карахтер. Аксюшка вон наша – «губернаторшей хочю быть!» – писарь ее смутил.

Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее: ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться.

Прихожу в магазин, а она плачет – разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали, они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас, а на моих глазах нашего городского и узнали! Он заслуженный был, весь в крестах, Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся, а тут своих испугался. То хоронился, а стало потише – он и вышел поглядеть, знакомые шубу ему дали надеть, с барашковым воротником, – как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колена, штаны гордовые и видать, синие. Его по штанамто и схватили. Схватили – пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленки встал, заплакал, стал на небо креститься: «братцы не губите душу, я такой же человек, русской, подначальный солдат!» Крикнула я на них – «к мировому вас, живодеров!» – они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду, а тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров: надо, говорит, щук ловить, а вы караса схватили. Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А, бывало, за лошадь заступались, выбегали.

Прихожу, Авдотья Васильевна плачет, за мужа опасается. А сам Головков к Троице укрылся. Трое молодцов, воруют, говорит, почем-зря, так вот и разоряют помаленьку. А пристав новый, помощник-поверенный, что ни вечер, за закусками посылает, в долг все, а не дать нельзя, – власть, какая ни есть... да все дорогое требует: икры, мадеры, сыру ему швейцарского, сардинков... И еще бездомный приют открыл, а денег у него нет. Он сразу три приюта открыл. И развел он у нас во-ров!.. Как ночь – так и разденут в переулке. Даже и его самого раздели, и пистолет отняли.

Спросила ее, как бы барыню поисправить, кончается. Она мне просвирку дала успенскую, телесные узы отверзает, на исход души, – в супец заместо сухарика покрошить. И растревожила она меня, не сказать: уж она все зараныне знала! А что вот останемся ни при чем. Каждый год в Оптину они ездили и в прошедшем году поехали. А старцев там не осталось уж,

вывелись, один только пришлый старичок в овражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя в дырках вся, и без кры-ши... и полным-то-полна мукой, и мука в дырья текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай. А там вроде как престол, а на престоле наш царь сидит, словно в ризе, а округ головы лампадки все, и лик у него те-мный... От страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился, – «в дорогу, говорит, собирайся, все пусто будет, и снаружи, и снутри». И все. Ну, она и знала. Так мы и положили – в последнюю дорогу, помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит: «А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть, про судьбу, и вон что мне вычиталось, закладочкой я заложила».

И прочитала мне: «ноги твои спасут тебя». Вон как: ноги, значит, спасут, бе-ги. И я поантересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадалщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок, пристав одну и продал Головкову. Старая-престарая, и черепа там, и гроб со свечами, – страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоте умела, Авдотья-то Васильевна, – она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько, – она и отыскала про меня. И что же, барыня... выгадалось, как вылилось! А вот, значит... «пройдешь многие земли и ца-рства... и на кораблях плыть будешь, и...» – чего только не на сказано! И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и же-ле-зо... а Господь сохранит. А ей – ноги твои спасут тебя. И что же, барыня... и ей ведь бежать пришлось! Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу-свету. Встретила ведь ее. Да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло.

Где это мы с Катичкой ехали? Мы в Париж поехали из Костинтинополя, скрозь все земли, Катичка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катичку и влюбись. Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес, да с нами и увязался, покуда его бумаги уж не годились, на гитаре все нам играл. Где вот Дунай-то река... с красным перцом там все готовят, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко, кваску не продают ли лимонадного, изжога с паприки этой поднялась, пить до смерти хочу... А насупротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застучали. Ма-тушки! В окошечке-то, гляжу, – Авдотья Васильевна моя! Так я и обмерла. «Ма-туш-ки-и, Авдоть-Ва...!» – И она увидала, ручками так всплеснула... – «Ма-тушки-и... Дарь Сте...!» – и нет ее, увез поезд. Высунулись мы, друг дружке помотали... – кэ-эк меня за ворот ктой-то сзади! А это цыган венгерской, а то бы мне голову разбило, об столб об железный, шурхнуло по платочку даже. Ну, верно-то как, – желе-зо грозить будет! – выгадалось-то мне. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была, все Господь. Так и разъехались, скоро три года вот. И в черном вся, и худая-худая... уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мол... а Катичка – нонче-завтра, так и не пропечатала. Да что вы, барыня! как же я вам буду благодарна, и заплатит у меня найдется. Значит, Дарья Степановна, Синицына по фамилии, я-то. А ее – АвдотьВасильевна Головкова. На лавочку баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая... сразу и разговорит...

XIX

Дала я барыне просвирки в супце, потише стала.

Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у ней текут. Я и говорю:

«Барыня, ми-лая... надо бы вас исправить?...»

«Что ты городишь, как меня исправить?» – не вразумела.

«Поисповедались бы, приобщились, – говорю... – смилуется Господь».

«Опять ты свои глупости!..» – раздражительно так.

При конце уж, и тут не пожелала. Я и постращала, душу ее спасти:

«Надо бы, барыня... нехорошо я вас во сне видала».

Вот она затревожилась!..

«Как меня видала? что видала? Нет, не говори... – замахала на меня, дышать не может, – нет, скажи... все равно... как видала?...»

«Да в подвенечном, – говорю, – наряде, вас видала, и все будто на вас просветилось, всю видать. Лучше бы вам приготовиться...» – заплакала я даже, и она заплакала, как дите, захлюпала. А Катичка на меня:

«Дура, зачем глупостями мамочку тревожишь!»

Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет, земле она словно предалась. Да что, напротив судьбы хотела: вскочила раз – давай мне одеться!

«Я здоровая, покорю болезнь... хочу жить, хочу ходить!..»

Стала ей помогать. Надела платье зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзает, как на мертвой. В зерькало погляделась – ахнула, давай с себя рвать. Упала на ковер, и кровь из нее, да хлестом! Доктора приехали, – в Крым везите. Стали мы ее в дорогу собирать, Аполит билет ей выправил дармовой, цельную комнату в вагоне, цари ездют. Принес ей билет и говорит:

«Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, графские наши, дедушкины. Все тебе попало, у меня и памяти не осталось».

Стала она ему резонить – да зачем тебе, ты от благородного роду отказался, ты уж сацалист стал, зачем тебе запонки? А он ей – продам, мне для дел-укрепления. А коронные были, тяжелые, больше рубля. Ну, пристал: отдай и отдай, я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой... Вытеревил он запонки. А тут увидал – в гостиной грамотка графова в рамочке висела: гусь стойком летит белый, и на гусе корона зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. Аполит и вцепился: последний я нашего роду, по закону мое! И она уцепилась с барином, так и не отдали. Ну, дойдет дело...

В Крым уезжать, вот на прощанье и захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль, в подушки, и меня барин посадил – помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, так пондравилось барыне, все-то ахала: «ах, дожили... воздух какой слободный». Приехали к Страстному, памятник-Пушкин где, – крикуны кричат, на памятник залезли. Наро-ду – не подойти. Барыня и говорит барину – «скажи чегонибудь, хочу тебя послушать, орателя». Барин и влез на Пушкина. А ему кричат – вон пошел! Стал кричать, а его за ноги и стащили, рукав порвали. Барыня – ах! – в омморок с ней. Я к людям – помогите, барыня моя помирает! – а там кричат – «ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла – «домой, няня... страшно...» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часыто срезали. Больше мы и не ездили.

XX

А у барина неприятности пошли, спирту у него украли много, в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалованье получить на всех, а на Кузнецком Мосту сумку у него и отняли, под самым городовым, – новых наставили, с лентами, ноги замотаны, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку: жалованье давай! Приехал – заплакал даже: да что же это, говорит, творится-то? Месяца не прошло – уж и житья не стало, все поползло.

Вот я плакала, как царя сместили. С Авдотьей Васильевной мы плакали. Каждый обидеть может, страху никакого не осталось. Одно утешение – в церкву сходишь. Все там по-прежнему, чистота, красота, и молитвы все старые, душевные, царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.

Барыню в Крым везти. А она к Аксюше привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась, – воровка и воровка. И вина ему волокет, и

гостинцев, из белья стало пропадать... я на писарьке баринову рубашку признала, и носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, слова не скажи, от писаря набралась, на голове бант красный, – ну, не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить: «старый век, древний человек!» От писаря набралась. Стала я ее гнать, барыня велела, и она кудато приписалась, в ихнюю в ливорюцию. И приходит к нам стриженная девка с сумкой, лихущая-разлихущая, стала кричать на барыню – извольте ей жалованья прибавить! а?! Она ворует, а ей – прибавить!! Да сумкой на нас – «кровь пьете!» Тыщу рублей сорвала, насилу развязались. Да что, ничего не понять. Поверенный-помощник, за пристава-то который, созвал всех дворников, – Амелян наш рассказывал. Пришел из участка, скушный: «Шабаш, сяду на лавочку, буду семечки лускать. Это что ж, теперь понарошку все! Согнал нас, за ручку поздоровался, никакого уважения. Мостовую, говорит, убирайте, гражда-не... а пачпортов не прописывайте, теперь всем полное доверие. Теперь, говорит, верного человека не узнать, все жулики гуляют». Так и сидел-сучал, подсолнушками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке, чисто в снежки играют? А они ушат макарон вывалили и шлепают друг в дружку: надоели ваши макароны! Кто в деревню уехал, из лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это три вагона жулики загнали на станции в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли. Ну, в Крым барыню собрали, Катичка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердную отпустил. Анна Ивановна ее звали. Душевная такая, и про святыни знала, про ду-шу знала. Папаша у ней первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу – скоро, пожалуй, места искать придется, разорение подошло, и больные оба. А мне Авдотья Васильевна советовала все в монастырь уйти, – теперь покоя не будет. За полторы тысячки келейку купить, в Хотькове, и жить на спокойе да молиться. Хотела я у барыни попросить, – за ними у меня под две тыщи набралось, – да она на ладан уж дышала, так и не стала беспокоить. А она меня поцеловала-заплакала: «няничка, побереги Костика, одна у меня надежда на тебя».

XXI

Уж после Пасхи это, барыню мы отправили. У баринова приятеля дача хорошая была там, в Крыму, – он и дозволил у него жить. А барину операцию велели, а он – погожу да погожу, перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет, – горький суп, да чем вы меня кормите без барыни, и ножи воняют, и салфетка мышами пахнет... – и похудел, и почернел, узнать нельзя. Взгляну на него – нежилец и нежилец, глаза уж неживые стали, туда уж смотрят. Стала ему говорить – надо докторов слушаться, на операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зеркала все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все, бывало: «а что, сильно я похудел?» И спрашивать-то чего, слепому видно, кости-то исхудали даже. Говорю – одни лопатки торчат. «Да, – говорит, – плохо дело». И платью на нем, чисто на вешалке. Собрался на службу – воротился.

«Нет, кончился я, няня... дай-ка мне содовой».

Повернулся к стенке и содовую не стал пить. И скушно у нас стало, чисто вот упокойник в доме. А у нас рыбки в аквариме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажешь – «рыбок бы покормили, развлеклись... что вы с мыслями все сидите?» – «Какие уж мне рыбки, теперь все равно». А раз стоит у окна, глядит. Погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протирала. Вот он и говорит:

«Счастливые, ситный-то как едят!»

«Может, – говорю, – ситничка вам желается, схожукуплю?»

«Не до ситничка мне, завтра меня резать будут».

Я даже затряслась. А он мне – «все может случиться, я тебе укажу».

Повел меня в кабинет, показал бумаги какие взять, сколько денег осталось, и письмо барыне чтобы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, к Аполиту бы я сходила, а

он напишет. Пошла я к нему, а жильцы, степенные такие люди, и говорят: «хотим вас остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходят, ограбить, может, кого хотят». И бонбу у него видали, и пистолет. А его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, письмо бы сестрице надо, а он – «не до ваших мне пустяков». Стала его корить: из хорошего семейства, а люди вон говорят – шайку завел. А он смеется:

«Не шайку, а цельную лохань! Что, хорошая теперь жизнь? Ну, вот что, нянька... мы крепкую власть поставим, будешь благодарить. Ты, – говорит, – настоящаяпролету-щая, в трубу пролетела... – смехом все, – я тебе дом скоро подарю, только помалкивай».

Он всегда добрый был. Подумала я: может, они царя хотят поставить опять, на барина-то он серчал. Спрашиваю его, зачем пришел. Говорит – по тебе соскучился, и письмо обещался написать. Поставила самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу – Аполита нет. А он в гостиной, стоит – смеется. А на полу – грамотка, с гусем-то, в клочки изорвана. Я так и обомлела. А на стенке картоночка висит, кулак углем написан, – а он умел хорошо нарисовать, и лошадок рисовал, и цветочки, – да не простой кулак, а кукишку сует. «Вот им, ихнее звание теперь!»

Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает: что угодно? А тот на стенку и показал: «Были гуси, а теперь без перьев!» – и ушел.

Ничего барин не сказал, только заморщился. Барыните знакомые?... Нет, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала как-то иногородняя, красивая такая, модная. Как его увидела, так и попятилась. Посидела минутки две – ушла. Барин и говорит: «Вот, заболел – никому и не нужен. Одна ты, няня, меня жалеешь. А меня и жалеть не за что». «Каждого человека, – говорю, – жалеть надо».

Головой только покачал.

XXII

К Иверской я ходила, молилась все. Через неделю по телефону меня позвали в клиники. Операцию им сделали, и повеселели они маленько. Велели и им в Крым, там уж доправится. Три недели он в клиниках лежал, куда заживало, а я собирать их стала. Забрала бариновы бумаги, в чемоданы поклала все, и свой сундук захватила: оставь – раскрадут, порядку-то не стало. От казны денег нам исхлопотали. Народу понаехало в Москву, от страха, у нас с руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И приезжает вдруг Анна Ивановна, ее доктора из Крыма выписали, барина провожать. И все-то уж она знает про меня, барыня рассказала. Так мы с ней подружились, родные словно. И барин так ей обрадовался, так все ей: «свита моя почетная!» А у ней все медали, и плечико у ней прострелено, с ероплана стрела попала. Усадили нас в царский вагон, бархатное все, и всем белые постели, раскидные, удобно очень. С цветами нас провожали, в лентах, очень хорошо про нас говорили, оратели, хвалили нас. И провизии нанесли, – и курочку, и икорки зернистой, и кондитерский пирог, – прямо завалили. И нам двоих санитаров дали, и проводник был строгой, – время-то беспокойное, солдаты с войны бегли, июль-месяц.

Поехали мы – и по-шло. Что только на станциях творилось, ад чистый. Как станция, мы уж и припирались, а то не справиться. Барин лежит, им еще ходить нельзя было, а в окошки стучат, по крыше гремят, проломить грозятся, в двери ломаются, ругань, крик. Вломились в наш вагон – «бей бонбой в дверь!» А санитар у нас умный был – крикнул: «тут главный кабинет едет!» А может, и правда, барыня, – камитет, слова-то ихние... «Камитет главный едет!» Те – ура кричать стали. «Так бы, – говорят, – и сказали, что камитет едет!» Всю дорогу и отбивал нас. А то головы в окно к нам, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкреплять, и цыплята жареные, и икорка... они бутылку выхватили, лапами в икру, и всякими-то словами...! Ну, мука была нам ехать. Уж так барин ужасался... – «С ума сошли, отблагодарили нас за свободу!» Анна Ивановна все ему: «пожалейте себя, доктор... и их пожалейте», – добрая

такая. А он – «звери, животный...» А она ему: «не звери, я три года на войне была, они ангелы прямо были... это наш грех!» – заступалась все. Да ведь, барыня... как судить, темный народ... да вы, может, и правильно, грубияны, и жадные... так ведь высокой жизни она была, как все равно святая. Обидно, понятно, какие капиталы разорили... правильно говорите. А то раз вышла на станции, приходит и рассказывает, – человека при ней солдаты чуть не убили, помещика, она отняла – закричала: «есть на вас крест?» Они взяли ее под руки и к вагону привели, по медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул, с того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат полна станция.

Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила, по секрету:

«Бедный, три месяца только ему жить осталось, скорый у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать. А ему сказали – все вырезали, и показали даже, от другого взяли. Он и повеселел».

Очень жалела барина: хороший он, в Бога только не верит.

«Вы, нянюшка, может, уговорите его поговеть, он вас любит».

Мы его и приготавливали помаленьку. Попросит он почитать газетку, станет ему читать, а он расстроится, страшное там все пишут: «да что ж это творится-то!»

Она и скажет: «лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать, душе-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит – радуется: «воздух какой, в лесочек бы!» Все говорил – «понравлюсь – по Волге проедусь, теперь хорошая жизнь началась». А она везде бывала, все монастыри знала, все-то города зна-ла... и как осетрину ловят, ну все-то знала... за край света заходила, где солнца не бывает! Ее папаша все леригии учил, она и верила хорошо. Так мы его и приготавливали помаленьку. Ночью, помню, лекарства он попросил, сонного. А в вагоне у нас – как днем. А это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит – мужики все именья жгут, а это спиртовой завод запалили. «Светлая, говорит, жизнь пошла, все лиминации зажигают». Барин уж попросил получше окошечко завесить.

XXIII

Приехали в Ялты. Дача – чисто дворец, цветы, деревья, невидано никогда, – корика-гвоздика, и лавровый лист, – прямо бери на кухню. Го-ры, глядеть страшно, татары там живут. А внизу море... ну, сйнее-рассинее, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я увидела, да смотреть неохота, как без причалу стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание: теперь видите, как у Бога хорошо сотворено... и у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте.

И вправду, барыня. Турки, нехристи, а все у них есть. Я у турки жила, в Костинтинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой: одна главная жена, а другие под ней, покоряются. Уж они меня сладостями кормили... и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и винны-ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной, на сале жарили, и рис миндальный, и... – ублажали, прямо. И жалованья прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала, – а Катичка-то как же, да что я, продажная какая? – и не осталась. У своих жила – и жалованье не платили, а турки вон... Это уж в искушение мне было.

Мне особо комнатку отвели, в Крыму-то, из окошечка море видно, кораблики, а в саду и персики, и вабрикосы, и винограды, а жизнь наша черная-расчерная. Барыню я и не узнала: истаяла, исчахла, былинка и былинка. Ходить уж слаба была, все на креслах лежала, на терасах. И все цветы в вазах, вся в цветах и лежала. И Катичку я не узнала, – задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня... заплакала я от радости, молиться Катичка моя стала, и Евангелие, гляжу, у ней

на столике. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку поведала, а та его зна-ет, Анна-то Ивановна.

Уж так барыня обрадовалась, барина увидела, – оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные, друг дружке и тяжелы стали. Барин первое время выходил на терасы, полежать. Тут он, а на другом краю барыня. Лежат и молчат. А я сижу и вяжу. А жарынь, кузнечики там свои, крымские, посвоему кричат, цыкают, погремушки словно в ушах, – цу-цу-ЦУ– цу-цу-цу... – и задремлешь, забудешься. Цуцу-цу... цу-цу-цу... – вздрогнешь, а они лежат в креслах – живые упокойники. А то жить бы да жить, благодать такая. А тут неприятность нам: небель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А то Аполит грозит: суд подыму, мамашины пять тыщ давайте. Хотела лисий ему салоп послать, барыня не дозволила. А уж он живой большевик, писали нам, железную дорогу себе требует, – чего захотел! И еще, грехи стали открываться: барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал, она – судиться буду! Барыня стала кричать: вот куда деньги у нас валились! Чуть говорит, и у барина боли сильней стали, качается-охаёт, а все старое подымают, не смиряются. Я молюсь – умири их, Господи, пошли конец скорый, непостыдный, а меня в свидетели тянут, всю я их жизнь видала. А она не знала, что барину помереть, вот и начнет:

«А, смерти моей ждешь, помру – сейчас и женишься на богачке? Ну, я тебе и в могиле не дам покою!»

Он руками от нее, от боли кривится:

«Дай мне покою. Гли... последние мои дни...» – а она свое:

«Не представляй, известный ты актерщик... – женишься на Подкаловой-богачке, она тебя оценит, хоть и дура она, и нос утиный!...»

Он и закричит, в голос:

«Дай мне яду лучше... Гос-поди!...»

Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет, дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову – «ведь это живой ад! – скажет, не в себе. – Бога у них нет!» Про Бога им начнет, они и задремлют, утихомятся. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу, а она все кипит. И неверы, а любили про чудеса послушать, про исцеления. А Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец анженера с супругой от тигры остерег, – встретите, мол, тигру... Так они подиви-лись! А как же, это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. Старец и говорит: вот вам иконка, молитесь в пути, и не тронет. Они ничего не поняли, кто не тронет-то. Ну, поехали, а дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит анженеру: «теленки в хлебах как прыгает высоко!» Пригляделась – видят, тигра, полосатая вся, к нам прямо! И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот, на тигру, – тигра допрыгала до них, поглядела, зевнула, – ка-ак сиганет от них... и пошла по ржам, дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали: убегла тигра, троих сожрала.

О смерти-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться-причитать:

«Хочу жить, молодая я... Нянька до каких лет вон живет, – завидовать мне стала, а! – а я калека, не хочу... тьфу! проклинаяю!.. Почему с нами чуда не случается? Вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится...»

А барин скоро и на терасы не стал проситься, ослаб. Стал себе шприц впускать, пузыречек у него стоял, от боли. Анна Ивановна мне сказала, – можно бы для лучшего ухода в Москве оставить, а доктора подумали – лучше уж с барыней поживет, а сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анне Ивановне: «я все знаю, друзья меня порадовать хотели». И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так, с письмом, и губы так скривил, горько. И говорит:

«Не оставляй, няня, Катичку, скоро она одна останется».

Стала ему говорить – даст Господь, еще и поживете, а он – «нет, месяца не проживу... не оставяй Катичку... и прости, няня, нас за все». Заплакала я на них. А ночью – я в комнатке спала рядом, а Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катички нет, на балу была для раненых, – барин застонул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потерять ли им бочок мазью.

«Очень боли, няня... – говорит, – колеса во мне с ножами, все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет... страшно мне одному...»

Никогда не забуду. Ночь черная-черная, к сентябрю уж. Ветер с горы пошел, вой такой, деревья шумят, жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресла, к ним...

«Дай мне руку, – говорит, – легче мне так. Я сейчас сон видал... маму покойную видал, будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать и ранец, так было хорошо... я, – говорит, – все ранец гладил, кожей как пахнет, слышал... – так вот потянул носом, нюхает, – и сейчас слышу... давно-о было... и так мне радостно было, няня. А боль и разбудила, все и открылось. – Руку мне пожал ласково, и шепчет, про себя будто: – ах, мама моя... ах, жизнь моя... все, Дарьюшка, прошло».

Я не поняла и говорю им: «и слава Богу, заснете, может».

«Нет, не боль, а... все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело».

Стала я его утешать: «не гневите Бога, жили, барин, хорошо, нужды не знали, и Катичка у вас, сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Он поморщился, усы так поднялись, – бороду уж ему обстригли, и не брился давно, – страшный был, лицо с кулачок стало, узнать нельзя.

«Мне милости не будет, – говорит, – это ты, Дарьюшка, счастливая, у тебя Бог есть, а у меня ничего, я и молиться разучился... я-ма у меня тут, – на грудь показал, – дай мне шприц, ножи режут...»

Впустил себе яду сонного. Стал просить – расскажи чего, я и засну. А я все слова забыла. Стала «Богородицу» говорить, он и заснул. Только уснул – слышу – «ай-ай-ай!...» – барыня кричит. Вскочила, побегла, а она, в халатике в белом, чисто смерть; на ковре сидит, а круг ее все письма расшвыряны, розовые, голубые... и в кулачке зажаты. Увидала меня, охнула, – и ткнулась головой в письма. Я ее подымать, а она, глаза – как у сумасшедшей...

«Вот какой, обманывал со шлюхами... и с каретницей жил...» – это вот, чья дача-то, докторова, у него супруга из богатой семьи, каретами торговали, – «с каретницей путался, к любовнице умирать послал... тьфу!...»

И давай по полу биться. Я ее уговариваю – в постелю вам надо... Вырвалась от меня, сгребла письма в охапку, побежала... – «я ему, прямо, в...» – кричит. Перехватила ее, она меня в грудь, исказилась вся. Я ей – «барыня, милая... ночь на дворе, барин только уснули, измучились...»

Рвется от меня, бьется... – «Лгун, в гроб вогнал... Катичку по-миру пустил...» И повалилась сразу, ослабела. А изо рта кровь, хлестом! – весь халатик ее, и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери, – Катичка мне навстречу, с балу, в белом во всем, розаны на груди, и за ней двое молодчиков, офицера, в повязочках. Она мне – «чего у вас огня нет?» Увидала, страшная я какая, – а я растерзанная, и кровь на юбке... – крикнула: «что случилось? мамочка, папочка...?» Я ей, с перепугу-то, – «мамочка помирает!...» Она зашаталась, в омморок. Те ее подхватили. Я им – «за доктором скорей!» До утра с барыней возились, подушки давали с воздухом, – через день померла, отмаялась, крови из нее выхлестало много.

XXIV

А ведь это мой грех, неграмотная я. Барин какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаги и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала,

вот и дорылась. Как ее выносить, барин попросил на креслах его к ней подвипуть. Подняли его под руки, посмотрел на Глирочку свою, губами задрожал, – «вот и все», – только и нродыхнул. Воротились мы с кладбища, Катичка вошла в мамочкину спальню, упала на постелю головкой и отплакалась тут, одна. Да тихо, барин чтобы не слышал. Он после того три недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катичку. И говорит:

«Одна у тебя няня остается...»

Без слез и говорить, барыня, не могу. Взял за ручку, через силу уж говорил:

«Она у тебя самая родная, ты ее почитай... она тебя не покинет, я ее просил. А ты прости, ничего у нас нет, все промотали...» – и заплакал.

Катичка ему руки целовать... – «папочка, милый...» – а он опять:

«Няню не забывай, она правильной нас, всех жалела...»

Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катичка меня и не бросает. А Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался-причастился и Катичку бы благословил, по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболел, а надо покаяться. Намекала ему, а он ей сказал – надо в Бога верить, а то обман выходит. И я ему намекала, барыня. Он в тихой час чего же мне сказал!

«Что делать, куда Глирочка, туда и я».

Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от Глирочки своей отбиваться, тоже думал – плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось.

За два дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал, – только ему шприц впустили. Читала она, а я все плакала, – про Христово Воскресение читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розы все. Он вдрух и говорит, слабо так:

«Сколько свечей... хорошо как, Пасха... священники пели...»

Так мы и обмерли. Катичка склонилась к нему, а он шепчет:

«Они нас крестом крестили... „Христос Воскресе“ пели. А где же они, ушли?...»

И на обои смотрит, на розы. А на них солнышко, уж те-мное пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катичке, Катичка и сказала, слезки проглотила:

«Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так...»

И стала его крестить. Слезы у ней, и все она его крестит.

«И ты меня благослови, папочка... перекрести меня».

И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы-Угодника, и подала Катичке. Катичка в руку ему вложила и головкой к нему припала.

«Благослови меня, папочка».

А он все на розы глядит. И будто чего вспомнил! Повел глазами, чего-то словно ищет, рот перекосил, горько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку – и задремал. Долго Катичка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились, – доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом черный стал, и тело чернеть все стало, – черный рак. Утром вошла я, а он холодный, ночью отошел.

XXV

Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные – все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался все – не надо отпевать, отменено, сжечь надо! – Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную, – дескать, упокойник слободы все хотел-пекся, вот и получил теперь полную слободу, самую главную... и дай Бог, говорит, и всем такую слободу. И кутьей помянули, и блинков я спекла, доктора

кушали-хвалили. А косматого Анна Ивановна не пустила помянуть: «вы, говорит, упокойников жгете, вам и поминать нечего». Обиделся, блингов не пришлось поесть, шантрапа.

И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, а она в полном соку, такая-то бой-баба, – сумашедчих они лечили. Знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет, а доктор, вроде как напуженный, что ли, чисто кисель трясуший, так все: «уж это я не знаю, как Треночка», – Матреной ее звали. На роялях сразу начала, после поминок-то. Анна Ивановна уж устыдила. Спасибо, скоро уехали, дозволили нам пожить. Стали и мы в Москву собираться, а у Катички этот вот сделался, вырезают теперь все... вот-вот, а-пен-децет. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала, неприятность-то у ней с Катичкой была. Лечиться будто приехала, от ревматизма, грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катичка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная... ну, они и поцеловались. Погодите, что будет-то... роман и роман страшный, так все и говорили. Не знали мы-то... Она постарше была, а тоже красавица, только болондиночка, глаза синие, а лик стро-гой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала... Галицкая. И разочаровала-ла она нас! У-мная, умней нет. И сядет и взглянет, – и что ж это такое, сразу видать, какого воспитания, гра-фского. С недельку повертелась – нет ее, укатила на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тут ли он. А Аннато Ивановна нам сказала: «батюшки, да я Василька хорошо знаю!» Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила. А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время, большевики бариново правление согнали уж, стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями, – вот зарежут, самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, золотая браслетка на кулаке, сорвал с какой-то. Диван проткнули, из озорства, бутылку вина забрали и баринов бинокль, да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю – к мировому подадим, а они меня насмех: «а завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим!» Так я и похолодела. А Катичка закусила губку да как то-пнет! Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: «а пол-то не проломить, ножка махонькая!» Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял: «я, – говорит, – утрудящий, все вам уберегу». Они ему и подписали, для сохранности: скоро опять придем. А он был и большевик, и меньшевик, а жена у него глупая была, все нас ругала: «конец вам пришел, буржу-и!» А в церкву ходила, дура. А Яков Матвейч, садовник-то, гвардейский раньше солдат был, рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи... как, говорит, в парад надевать, мочили их, и нипочем не надеть. Намочут, говорит, штаны, двое их держут, а он лезет на табурет и прямо – прыг в штаны сверху! – они его и поддернут, так он в штаны-то и влепится. И жа-дный был, Богу все молился, большевики бы пришли. А у них дочка, прислуживала нам, Агашка, такая-то хитрущая была, все через женихателеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху, с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить – дача по закону теперь его. «Но я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне, вот меня утвердят, сколько-нибудь платить». Видим – никакого закона нет, и мирового нет. А тут нам из Москвы бес письмо– прислал – театры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я, правду сказать, рвалась: в Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни... и мировой, может, есть. Стала я укладочку собирать. Имущества у меня было, добришка всякого: шуба беличья была, салоп лисий, тальма эта вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куса... К марту месяцу было. А тут татары войну и подняли.

Ночью как пошли ре-зать, кто под руку попадет. У них и начальство объявилось, татарово. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали, – татары сразу нас и покорили. Матросы прикатали с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров, все православные обрадовались, – не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят, – каки-то зеленые на горах сидят,

грабят. Ну, стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель-месяце было, все зацвело, радоваться бы только, а нам Яков Матвейч и говорит: «поздравляю вас и нас, немцы нас ночью завоевали, пойдемте скорей глядеть». Гляжу – Агашка уж с дачи выбралась. Я еще ее спросила – «чего ж от чужого добра отказываешься?» А она глу-пая, – «немцы шутить не станут, мне муж велел». Пошли мы немцев глядеть. Невидано никогда, какая сила, и откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и ероплан шел, ни крику, ни... – только все звяк-звяк, все железом гремело. Так все и говорили: «теперь уж порядок бу-дет». Ихний генерал так и велел сказать: «теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвейч даже сказал: «вот это-дак покорители, настоящая войско, как царская у нас гвардия была». Пойдешь в город – гулянье и гулянье: музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает раз Катичка, кричит – в театры поступила, будут деньги. А Яков Матвейч страшит все: немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется. Стала я припасать, материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи – не миновать немцам уходить, еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут карасинщик к Катичке и посватался.

XXVI

Фамилию-то забыла, барыня. Не Махтуров, а... вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и барин с ней, весь в белом, а сам черный, сразу видать – буржуй из хорошего дома. Пять минут посидел – уехал.

Спрашивает Катичка – «все ухаживает за мной, ндравится тебе»? Будто ничего, глядеться. Говорит – миллиенщик, карасий продает. А нам, конечно, мужчину в дом нужно, на что лучше такой могущественный. Только его Курапетом звать, имя какое-то такое... И зачастил к нам, освоился. То фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана, – стараться стал. Ну, стал добиваться, замуж за него шла бы. А она – погодите да погодите, папа с мамой недавно померли. Раз прикатил, всходит на терасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к сорока, а бегаёт из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? – что-то беспокойный. Вышла Катичка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделял. Я уж и за Яков Матвейчем бежать хотела. А это он... запылал! Как брякнется, она от него. Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые, взмок весь, зубами ляскает... – «не могу без тебя жить!» – на-ты ей стал. Потом выхватил пистолет, – «и тебя, и себя убью, не могу!» Она как завизжит – «бросьте пистолет!» – он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать, – «будьте умный и ждите».

Шелковый стал, так им и вертела, как хотела. Раз ночью и говорит мне:

«Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя... разве пойти за Курапета?»

Сказала – обдумай, нет ли кого по сердцу. Вот она рассердилась! А на другой день, примчалась на фаетоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на терасы, сама не своя. Села в кресла, в себя глядится. Что такое?

«Попить дай, жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила, познакомили нас... Васенькина отца!»

Вон что. Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. Вскорости приезжает с Курапетом, кричит – «нянь, сливошное мое давай!» А это любимое у ней платье было, муслиновое. И складненькая она, а в сливошном – как канфетка, залобуешься.

Переделалась, розаны приколола, выбежала к нему... широкая шляпка у ней была, белая вся, – он так и вострепетал. А она мне – «прощай, нянюк, увозит меня Курапет Давыдыч!» И укатили. А я, правда, перепугалась: ну-ка, обвенчается без меня. Вечером прикатила, говорит – у Никандры Михайлыча была, и какой у него дворец... – «может, говорит, за невесту Курапета меня считает, с ним пригласил». С того дня совсем моя Катичка повеселела, карасинщик

сыматься ее устроил на картинку, – вот-вот, снима эти. По горам ее возили, и в лодочке сымали, будто она на море тонула, а за это ей денежки давали, мно-го. Очень старался карасинщик. Как-то из города прикатила, кричит:

«Скоро наши Москву возьмут, письмо получил Никандра Михайлыч!»

А карасинщику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили, и он богаче прежнего стал, много карасину продал немцам, не то французам. И купил себе дачу новую. И приезжает. «Я, – говорит, – маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага, дачу ей подарил! Она – никак, не могу. А он ей – «а вот я помер, а вам и подают эту бумагу... а. почему от живого не хотите?» Она – ни за что. Он и молит: «что я могу сделать для вас приятное?» Она так задумалась... – «вы молодой, а не воюетесь за Россию... сделайте для меня подвиг». Он так и законфузился. А она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня, – говорит, Курапет-то, – сердце не в порядке». А она свое: «ну, тогда маленький подвиг, отдайте вашу дачу на лазарет... наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катичку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит: «нянь, он добрый, он все для меня сделал! Я его в лобик поцеловала!» Вечером приезжает карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться: «еду, – говорит, – завтра в Кеев, чего вам привезть?» Она ему и сказала: «кеевского варенья и самого себя». Как он воскричит: «я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, вздохнул и уехал. И не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали, сколько-то в поезде убили, и карасинщика нашего. А через месяц бумага нам, от нотариуса, – дача та Катичке осталась. Так она и осталась там – и наша, и не наша.

XXVII

А к зиме немцы сразу и ушли в ночь, никто и не видал. А жить уж нам трудно стало. Катичка где сымалась, – дело прикончилось, карасинщика-то не стало. А тут заграничные и понаехали, на кораблях, большевиков будто выгонять. Народу набилось в Крым... – кто от большевиков укрылся, а кого и так занесло. У многих дачи какие были, и рояли, и бралиянты, золото-серебро, – заграничные вот и навалились, ску-пать. Такой-то базар пошел... а барыня-то, заграничных-то как хвалила!..

Соседка наша, муж у ней воевал, и четверо детей с ней, мужнины часы, царские, англичанину продала, с голоду. За две ихних белых бумажки вырвал, а часы с музыкой, тыщи рублей дать мало. И Катичку тоже обманули. Колечко у ней было, змейка. Головка у змеи из изумруда была, а спинка серого золота... от французской царицы то колечко, кресна ее от дедушки получила, высокой посол был. Этому колечку цены не было, старик один говорил, записано в книгу было. «Вам, – говорил, – французы милиен дадут!» Как налетели скупать, и старик тот прибежал, граф итальянский прогорелый. Привел морского, говорит – «скорей продавайте, цену пока дают... я прошибся, фальшивая змея ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу». Тот и дал нам белую бумажку, сто рублей, по-нашему сказать. А потом узнали – морской старику много денег отвалил. Так и ограбили. А вот, видели ведь мы то колечко! В Париже здесь Катичка в окне признала, у старьевщика. Зашла, чегочего не наставлено! И иконы наши, и царские врата, краденые, и кресты крестильные, всего-всего... – перышки-то наши как разлетелись, по всему белу-свету. А мы в Америку собирались, денег нам надавали дилехтора. Она тогда сколько денег мне попередавала, – купи то, шелковое платье купи, стыдно с тобой. А я все сберегла, у меня цельный пакет заграничных денег, кошелечек кожаный на груди, – на черный день все ей будет. Ну, признала свою змею, спрашивает старьевщика: «и где вы ее достали?» А тот – «этого не могу сказать». Понятно, про краденое не скажут. Почему? Он и заломил: с кого милиен, а с вас половинку. Так вот и грабили, на корабли волокли. Весь Крым и вытряхнули, за грош без денежки. По дачам рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочет, кто шубу... и рояли, и небель всякую... – так все и говорили: «саранча-то налетела, и дачи скоро

поволокут, гор только не стащить». Наши знакомые говорили: «они нас за людоедов считают, они все так людоедов обирают, по всему свету». Каждый день пароходы отходили, полным-полнехоньки.

Иду по набережной, а на мне хорошая шаль была, ренбургская, несу лисью буу продать, а меня заграничный матрос за буу остановил, а другой за шаль тянет, насилу от них отбилась.

Принесла Катичке буу, говорю – плохая лисичка, что ли... самые пустяки дают. Она и говорит: «сегодня к нам чай пить приедут англичаны, купят мою буу!» А я еще ей сказала – дак как же так, в гости назвались – и торговать? Она и заулыбалась, – чего-то, чую, надумала. Вечером, знакомые к нам, а тут и трое морских на фаэтоне прикатили, щеголи, в золотых тесемках, кровь с молоком. Стали пить чай с вареньем. а у нас большие партреты Катичкины стояли, даже с царской короной был, карасинщик все нам заказывал, – они и любовались, даже графией величали. Вот она и говорит:

«Хочу бедным деткам помочь, рояль отдать в хорошие руки, в Париж еду... недорого возьму». И пошла на роялях поиграть. И им поиграть велела. Ну, один тоже поиграл-пошумел. А рояль большие тыщи стоила, каретничихи.

«За пятьдесят рублей отдам, и эту буу в придачу, от нас память».

Они враз и выхватили бумажники. Она ручками как всплеснет!.. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. А она изгибается – смеется, гости все вспоминали:

«Какие вы сочувственные... а как же я рояль на троих?... – Схватила лисичку, кричит: – нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрезать... – вырвала у меня ножницы, и раз-раз – на три хвоста буу! – А рояль-то как? Нешто по ножке каждому? а то – кто больше даст? или – жеребий кинуть?...»

И за деток благодарит, уж так хорошо представила, слезки на глазках даже: «а рояль-то как же? не могу я вам рояль...» – и ножницами все так, стрыгет словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она им по кусочку лисички: «ну, хоть это вам от меня на память... как вы деткам помочь хотели, на грудь пришила». Они и не понимают, смеется или взаправду. Всем по хвосту и пришила, а она ей ручку поцеловала. И все у ней губка прыгает. Как бы, думаю, с ней плохо не было, – затопает и начнет рыдать, шибко когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотели, вместе с платком и с этой вот лисичкой, насилу от них отбилась. И опять – нянь! Вытащали и давай вертеть. Со стыда я сгорела, чего это она меня на показ показывает, чисто вот цыган лошадь продает. Кричит им:

«Самая эта старушка, две копейки с платком за нее давали!»

Тут они поднялись все разом. А она вдогон им: «пожалуйста, не забывайте!» Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла – плохо будет, садовник завеселел, большевики подходят. Ему телеграфист-зять все по секрету сказывал.

К Благовещенью было, груши уж зацвели. Ти-хо так, хорошо по вечерам, тепло, все окна у нас открыты. Сижу я на терасах, слушаю, как скворцы на груше у нас свистят. А Яков Матвейч, как из-под земли вырос, и шепчет мне:

«Дарь-Степановна, в Крым вошли... завтра и у нас будут!»

Так у меня сердце и упало, бел-свет закрылся.

XXVIII

Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул. А он жадный, вот он с мукой носился! в наши постели хотел насыпать, все уговаривал: «мы вами не брезговаем, простынькой накроем, и спите на нашей муке спокойно, у вас тело чистое, не пахнет». И смех, и грех. В винную бочку ссыпал и закопал, мука вся и провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись, взад не вошли бы добровольцы. Ждем, в город идти боимся, телеграфист все страшал – заарестуют. И привел к нам начальника на постой – дача у нас хорошая, все море видать. А сам

с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник, ничего, годов двадцати пяти. Увидел Катичку и говорит:

«Я люблю образованных барышень, я сам образованный, учитель был».

Две комнаты забрал, с терасами, в бинок все глядел на море, – корабли, боялся, не подплывут ли. А и видомто не видать: как все ограбили, и горюшка им мало. Обыски пошли, а к нам и не заявляются. Телеграфист все хвастал: я вас так защищаю! А Агашка все платье себе выпрашивала. Ну, дали ей, и шляпку старую, – только защищайте. А постоялец то сала нам кусок, то сахарку даст. Все себя выставил: я образованный, уважаю барышнев. А Катичка его насмех: по-аглиски скажет, а он не понимает, и в музыку не умеет, и... ничего не умеет.

Вбегае раз Катичка ко мне, губка у ней дрожит: «нянь-нянь, нахал подлость мне сказал, из комнаты не уходит!» Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стала ему выговаривать, а Катичка как топнет, – «вон ступайте!» Он и говорит: «я человек образованный, а то бы вас надо наказать... я хочу на вас пожениться, а не изнасиловать вас!» И пошел, серди-тый. Что нам делать? Раньше бы гордового кликнул, или к мировому бы подал, а тут сами они суды судят. И телеграфист намекает стал, – вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был! И садовничиха-дура все мне: «уговори барышню с ним пожить, он тогда всех нас в люди выведет, и ей дачу какую выберет, а эту мы за себя бы записали». Плюнула ей в глаза, а Якубенка проходу не дает: то ветчины, то рису, – чего только разыщет. Садовничиха и скажи: «с карасинщиком пожила – и дачу какую заслужила, а бедных гнушаетесь... сколько бы всем добра-то сделала!» Уж я и отпе-ла ей: слово одно сказала – на голову им и вышло, согрешила я, грешница: «ох, говорю, смотри... уж покарает вас Господь за жадность вашу!» И что бы вы думали, барыня! Поехал садовник за Кострому, землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала, а он жадный, – поеду и поеду, скоро обернусь. Так без мужнины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли, на горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся, в грязи. Через два дни помер. Натянулся, как на струне, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, так ломало, тугой и помер, от грязи заразился. Зарился – земли бы побольше, от земли и помер.

Только схоронили, Якубенка опять – выходите замуж за меня. Она и скажи:

«Я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне надо посоветоваться. Есть у меня в Москве дядя...» – и такого человека назвала, не помню уж, – как вскочит Якубенка! – важного ихнего назвала, надоумил ее Господь, – «поеду-посоветуюсь, бумагу мне изготовьте».

Он нам сразу выдал, перепугался. А она больной притворилась, не может ехать. И приходит к нам матрос и еще один, вредный, рыло страшное. Поглядели-пошарили – пистолет и нашли, карасинщик какой забросил. Вредный и говорит: «я вас зарестую, к вам офицера ходили, враг вы наш». Катичка накричала на него, матрос даже похвалил: «разговорчивая барышня, таких нам надо». А вредный безобразить стал: «может, офицера по другому делу к вам ходили?» Она как топнет – «не смей меня оскорблять!» А тот – «а, храбрая вы птица, таких в клетку надо сажать!» Она ему – «попробуйте!» А тут и входит Якубенка, прогнал тех: «я, – говорит, – вас в обиду не дам». А это он нарочно тех подослал, власть свою чтобы доказать. А она смекнула, – давайте перо-бумагу, телеграмму дяденьке pošлю, как меня тут обижают! Он, было, замылся, а она – «нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить. И про карасинщика ему все известно. Говорит раз: «я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду – всегда принесу». Ну, что с дурака-то взять! Приносит ей часики золотые, на руку. Она ему – «где достали, добы-ли?» – «На войне, – говорит, – отвоевал». Она его даже пожалела: «какой, – говорит, – вы добрый». Совести-то они не знают... Вон матрос с вредным приходил, – он на Пасху, видала я, свечки у заутрени ставил! – так он, глупый... – я ему говорю – «берите и меня с барышней, одну ее не отпущу, совести коль у вас нет...» – а он – «эх, мамаша мне тоже про совесть все лямкала – надоела! со-весть... из этого товару сапог не справишь, а дала бы мне лучше кожи на подметки!» Так и жили, как на огне. Я с Катичкой в одной комнате спала, припиралась. А Якубенка все по ночам кричал, дверь свою даже прострелил. А это его черти мучили. А дни пустые такие, только и думушки, да когда же перемен будет! А Якубенка

проходу не дает: встанет перед Катичкой и скажет: «для вас весь свет переверну – не пожалею, любого могу убить!» И глаза страшные, му-утные, чисто у бешеной собаки. Только и молилась: Господи, пронеси!..

Праздник они затеяли, и стал он к Катичке приставать:

«Вы знаменитая артистка, езжайте на коляске, красную шапочку наденьте, и пику в руку возьмите, у вас лицо выдающее!»

Она не согласилась. Якубенка и говорит: «гнушается нами, хоть на праздник поглядеть придите». Пошли с ней. Ребятишек с флагами прогнали, а потом рыбаки сети волокли, а за ними лодка на колесах, а там садовники с мотыгами, бутылку бумажную несли, ни к чему, а после коляска ехала, а на ней такая-то оторва-девка в красном колпаке; пикой все на народ пырляла, актерка одя, гулящая. Она потом, добровольцы пришли, в кокошнике ехала, в сарафане, Россию представляла. Глядим, а к нам и подскочил турка, в красной шапочке, с кисточкой. Без рубахи, грудь красная, мохнатая, парусиновые штаны болтаются, на ногах дощечки. Коверкается, чисто обезьяна страшная, орет: «Катерина Костинтиновна, вы ли это?!» Так я и обомлела: самый он! Да энтот, бес-то обсосанный, бил-то его покойный барин.

Большевик и большевик расхлестанный. Ломается, чисто пьяный: «приехал дворец выбрать, артистам отдыхать, теперь уж не пущу вас, в Москву увезу!» Катичка еще его спросила, чего он такой грязный, раздерганный. А он, чисто мастеровой, мелет – мы все рабочие теперь, товарищи, полная слобода... Катичку потащил, штаны подергивает, ноги задирает, похабничает, стыд глядеть. И повадился к нам, до зари сидит и все любезничает: «сама судьба нас связала, небесная вы красота!» А Катичка сурьезная такая – подивилась я на нее, какая стала: «как вы постарели, плешивый стали, и ногти грязные...» И раньше-то неказист был, а теперь и совсем стал дохлый. А она уж всего повидала, уж не девчонка, – уважения-то к нему и нет. Пристал – в гости чтобы к нему, на дачу такую-то. А она и говорит: «это же дача генерала Коврова, как же вы в чужую дачу влезли?» А тот гогочет: «это, говорит, была генералова, а теперь – моя стала, мы все ломаем!» Стыд потерял. Вихлялся-вихлялся, как она крикнет: «вы с ума сошли!» Я и вышла к ним со щеткой, пол подметала. Она мне – «он меня обнимать вздумал!» Я ему и сказала: «барина нет, а то бы он вас перчаткой выгнал!» – смелости набралась. И она словами закидала. А тут и приходит Якубенка: «что вы так расшумелись?» А Катичка ему – «садитесь, милый Якубенка», – он так и растаял. А она бесу: «Якубенка приличней вас, он голову свою подставлял, а вы только примазываетесь», – истинный Бог! – «Завтра добровольцы придут, вы и перед ними будете плясать». Бес губы все кривил, и говорит: «о, какая вы стали, теперь вы уж настоящая... же-нщина!» – и на Якубенку подмигивает, бесстыжий. Катичка так и вспыхнула, огонь-порох! – «Слышите, Якубенка, он в чужую дачу залез и меня в гости зовет еще». А тот – «нам наплевать, только бы нам служили».

А Якубенка что-то сурьезный стал, с утра на море в трубу смотрит, трубу принес, и уж в городе ночевать стал. И говорит Катичке: «готовьтесь, через два дни уходим, только никому не сказывайте, хочу вас поудобней в Москву к дяденьке отправить, дам вам знать». Вот мы обрадовались! А садовничиха все пальцы лизала, с перепугу. Гляжу, зять прибежал, Агашка давай сверху опять перебираться. Я еще ей сказала: «чего опять спускаешься, ай жарко?» А она мне: «проклятушие кадеты одолевают, боюсь – разделка будет». Смотрим – солдат ихний со звездой записку принес, подводу Якубенка вечером пригонит. Катичка – собирайся, няня, скорей! В овраг, кустами мы на виноградники, прибежали к знакомому татарину, кислое молоко нам носил. Он нас и повел, в самую-то глушь глухую, за овраги, в сараюшку, кругом ни души, табак там резали-сушили, два старика. Утром пришел, сказал – ушли лихие люди, казаки уж проскакали. Пришли на дачу, садовничиха нам – «чуть меня, – говорит, – Якубенка не застрелил, сам прискакал за вами, да поздно только». Стала просить – уж не серчайте на нас, не погубите. Побежали мы в город, а там уж молодчики наши, и пароходик дымит, и все на нем грязные, офицера все, матросов нет. А публика им ура кричит, намучились за два месяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось, а то и не было ничего. В церкви благовестят, на Пасхе словно, весело так... Катичка моя у мальчишки цветов купила, кинулась к офицеру, рука в

повязке, а фуражка заломлена, отдала букетик. Он ей ручку поцеловал – заплакал. И мы заплакали. А с проулка кричат: «до смерти убился!» А это, узнали потом, садовничихи зять, из окошка выкинулся, с винной горячки, допился, а то со страху. И получил свой конец, как пес.

XXIX

Приходим домой, а в саду на ступеньке бес сидит с чемоданчиком, на себя непохож. Стал проситься – дозвоьте пожить, боюсь, за большевика примут, а то я рад, из ихнего ада вырвался. Пожалела Катичка, дозволила. Залез он наверх, три-дни не выходил. Уж турецкую шапку свою запрятал, сразу приличный стал и все на диване книжку читал. Не слышно его совсем. Катичка с утра в городе, а тот все дома. Скажу ему – все-таки человек: «может, поесть хотите, макарон хоть сварю вам?» Поморгает-пошепчет – «сварите, будьте великодушны», наскоро поглотает, как собака, и опять в комнатку забьется. Опасался – ну, дознаются про него. И ночью не спал, у окошечка слушал, заметила я за ним. И дождался. Дня три прошло, приходят двое офицеров с пистолетами, и еще татарин с ружьем, и длинный у него нож за поясом. А это, сказывала садовничиха, Осман-татарин, у него брата большевики убили. Вот он и водил по дачам, где большевики стояли. А Катички дома не было. Ну, спрашивают меня, Якубенка у вас стоял? Стоял, насилиу Господь избавил. Говорю еще, нас все уважают, и генерал Ковров нас знает, а татарин нож теребит, не дает сказать, кричит: «к тебе человек приходил, турка одет, где он, собака?» А тот и выскочил, ура закричал! И давай всем руки трясти, и татарину, и благодарит, слезы даже. «Спасители наши, победа у нас!..» – и пошел плести, откуда что набирает. И такой-то он, и все его знают... а они его и не знают. Велели показать пачпорт, а у него нет, правильного-то. А татарин ножом на него: «самый вредный, турка ходил, дачи грабил!» Тот перепугался, губами задрожал, креститься стал, – «я православный, не турка, большевики меня силой заставили представлять», – совсем заврался. Офицера и говорят: идем, там разберем. Он в сле-зы... стал им чего-то про театры, розовую бумагу выхватил, на стены-то наклеивают. А они – идем, татарин его в спину кулаком. А тут Катичка, к ней он: «спасите меня, скажите слово!» А она губки поджала, ни слова! Татарин ему – «а, не знает тебя барышня, вредный ты!» Он опять: «одно ваше слово... артист я знаменитый...» Ну, покрыла его, покривила душой, – приехал, мол, от большевиков уйти, артист знаменитый. А татарин и слушать не желает, до беса добирается: «и старушка хороший, и барышня, лазарет устроила, а этот самый вредный, дачи отымал!»

А тот серый стал, мышь-мышью, дрожьми-дрожит. Пожалела его Катичка: «поручусь за него, его и генерал Ковров знает». Татарин даже плюнул, сказал: «правды нет!» Чаем их угостили, и винца по станчику они выпили, устамши были. И бес маленько поотошел, шутки стал шутить-веселить, татарин даже смеялся. Обошел и обошел, как змей. Уж рад был, все Катичке руки целовал. И в город уж стал спускаться. А после знакомые и сказали, проспал бес и опоздал уехать. А может, и нарочно задержался, победы наши пошли, он к нам и перекинулся. Недели не прошло, генерал Ковров из Костинтинополя приехал, Катичка его видала. Веселая прибежала, говорит, – в Костинтинополе на картинках ее видал... вот-вот, в снима'х, – вон уж куда она попала! А это карасинщик ее снимал-устроивал. И победы у нас пошли, все телеграммы наклеивали, по три победы за день наклеивали. И наро-ду наехало, рестораны открылись, лавочки, вещами пробавлялись, жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли, – стали говорить, скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится. Уж так жировали... кто мылом заторговал, кто подметки скупает, артист один знакомый овсом торговать пустился, большой капитал нажил, на бралиянты выменивал, способный оказался. А богачи крупные дела делали, на кораблях все возили. Наторгуют капитал – и в заграницу уедут, на покой. Пришел, помню, офицерик к нам, вот богачей ругал! «Они, – говорит, – за нашими спинами карманы набивали, а у нас ни сапог, ни бельишка, яичко купить да фунт хлеба, только и жалованья нашего хватает».

Мальчишка совсем, родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал:

«Всю бы эту... – выругался, – всех бы богачей заспанных расстрелять, а деньги на армию, давно бы одолели большевиков! Мы в Ростове раздемши были, а они грош нам дали! ушли мы – все большевикам досталось. Мы, – говорит, – головы здесь положим, а толстошкурые в загранице кровь нашу прожирать будут».

Ну, известно, барыня, не все богачи такие. Катичка стала ему говорить: генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал, а в Костантинополе всего закупил, и белья, и по-роху, и пушек... и сын у него воюет. Офицерик так просветлел: «да я, говорит, его знаю, Василек это, полковник Ковров, герой известный, чуть матросы его не расстреляли, бонбой от них отбился». И он под его командой был, во льду шли вместе, вон как! Катичка до ночи его не отпускала, все он рассказывал, страсти всякие.

А тут к нам доктор с каретницей. Она полную штукатулку бралиянтов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала, барыня, как они спорились. Он все: «хоть немножко помощи, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много...» А она ему – «а сумашедчий дом пропал в Москве? ничего не дам!» А он ей: «да Треночка, мы русские, у меня душа болит». А она – «а у меня живот болит». А их наши добровольцы в Харькове спасли, они и приехали в Крым со своей штукатулкой. И ни грошика не дала. Загодя и уехали в Париж прямо. Доктор плакал – рассказывал: «в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они!» Он, барыня, с ума сошел, от мыслей. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал, с флагом, а рука пробита-повязана.

«Беспрременно я вас, – говорит, – познакомлю, скоро он сюда будет, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве».

А Катичка смеется ему:

«Да мы тоже старые знакомые, еще когда десять годков мне было».

XXX

И надо же, барыня, чему быть-то! Вот, завтра приехать Васеньке, – телеграмма от него – задержался. Ну, генерал Ковров ждал так – и вот. Доктор наш пришел и говорит, – заслаб старик, год сыночка не видал, не ранен ли уж опять, задержался-то. А Катичка закусил губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась: какие теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее. Тут Катичка вошла, услышала... чуть она в нее не плюнула! А скрепилась, сами-то из милости живем.

А Васенька вдруг и приезжает. Радость-то какая папаше-то, и слух был, Васеньку чуть не расстреляли. Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, винца выпили, а потом и старик в ванную сел... как сел, так и помер сразу. С тем Васенька словно и приехал – похоронить. Весь город на похоронах был, так все парадно было, и гроб из Севастополя привезли, уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила, а то кому подумать, женского полу нет, а без кутьи-то как-то уж непорядок, все-таки душеньку помянуть-порадовать. Катичка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна больше нашей дачи, и все цветы... гробу поклонилась, к ручке приложилась. Гляжу – Васенька, не узнать. Почернел, раздался, и сурьезный стоит, убитый. Я и говорю им – «здравствуйте, Василий Никандрыч, горе-то у вас какое». А он глядит, словно не узнает. А потом, глазами так вскинул... – «ня-ня, вы это?!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него. И я заплакала. И так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала, спросту: «с Катичкой мы одни тут, у ней папаша с мамашей тоже скончались, сироты мы теперь». Так он словно обрадовался: как, Катерина Костинтиновна одна здесь?» И не до нас ему, а я не удержалась, сказала: «опять уедете, может, нас навестите». Ни слова не сказал. Я не то, что бы зазывала, а... и его-то, сироту, жалко, и все-таки с одной мы стороны. Ну, Катичка была в церкви, а к нему не подошла, домой утла. Травур

у ней был, вот и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь-честью, и кутьицы Васенька откушал на могилке. И все очень благодарили. Старушки там были... одна греческая старушка тоже похвалила мою кутью, только, говорит, надо бы орешками утыкать и миндальком, и вишеньками из варенья кругом убрать, так по их вере полагается. А у нас, конечно, изюмцем больше убирают. И доктор наш помянул. И говорит Васеньке: «завтра обедать приезжайте». Прихожу домой, Катичка ко мне:

«Зачем тебя понесло по жаре таскаться? на поминки напрашивалась, блинов не видала?»

А я устала, молчу. А я еще в городе сказала – па кладбище пойду, проводить, и ничего она – ну, что ж, проводи. И кутью у меня видала. Молчу-переобуваюсь, а она все не отстаёт:

«Не позвали на поминки? Ах, бедная, устала, да в гору еще, пешком шла, не догадались, небось, на фаетон тебя посадить? А ты бы попросилась. Или не узнали тебя? А ты бы подошла, напомнила о себе... может, и посадили бы!»

Расстроила она меня. Говорю – плохого тут нет – за упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомого человека. А нехорошо, как у живого в гостях была, а на кладбище не проводила. Нет, говорю, меня сам Василий Никандрч узнал, сам меня и на фаетон усадил, и поцеловались с ним.

«Л может, напросилась, сама влезла? – поперек мне. – Может, он тебя за кого другого принял? У него мысли в расстройстве, а ты под руку ему попала».

Плюнула я – мели. Ушла. Приносит чайку с лимончиком.

«Отпейся-вздыхни, бедная моя, устала... – лисичкой такой ко мне, – не пришлось на поминках чайку попить... ну, попей чайку».

Я ее вот как знаю. Уж так ей хочется, вижу, узнать все, а виду не подает. Не стала томить, сказала. И как просвирку ему подала, за упокой раба божия Никандры, а то бы никто и не догадался вынуть, и кутьицы ему подала помянуть, и как он про нее спросил, очень обрадовался.

«Да что ты... у него отец помер, а он обрадовался!»

«И про адристу даже спросил! И наш барин пригласил его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навестить нас, – одни мы, говорю, теперь... сиротка Катичка...»

Как закричит на меня: «кто тебе позволил его звать?! что ты, хозяйка здесь, меня спросилась?!»

«Да чего ж тут такого, давно нас знает, и сирота. И чужих зовут, мысли разогнать, горе у кого какое».

«Да, может, он и не хотел заезжать, а ты его насильно зазвала...? – так раскричалась на меня, – ну, что же он сказал?...»

«Беспрерменно, – говорит, – буду, я скоро уезжаю», – только и сказал.

XXXI

Значит, на другой день в травур свой Катичка оделась, очень к лицу ей он: личико у ней и в Крыму не загорело, бледненькая такая, слабенькая совсем, – сиротка и сиротка. К обеду время, легла Катичка на терасах, книжку взяла, велела мне белых розанов нарезать. Лежит вся в цветах, любит она покрасоваться.

Только прилегла, Васенька и приехал. Взошел на терасы – так и остановился! А она, чисто как королева, и головка у ней будто заболела, бле-эдная-разбледная, лежит, слабеньким голоском ему – «ах, вы это... садитесь». Мы их и оставили одних. И обедал у нас, и чай пил, и ужинать остался. Вместе все по саду гуляли. Сразу и подружились, словно и не было ничего. Он у нас до часу ночи и просидел, и я не спала. Она его и провожать ходила, и потом он ее провожал, и опять по саду гуляли. В четвертом часу он от нас ушел, вот как. Заплакала я, как хорошо-то стало. Ушел он, а она на терасах все лежала. Заря уж, задремала я... Слышу, входит она ко мне, уж беленькая, ночная. Обняла меня, – «нянь-нянь, милая моя нянь... – давно такая ласковая не

была, – сколько он всего вытерпел, мученик он...» Утром рано вскочила, запела, – давно не пела. Надела голубенькое, воздушное, – ну, девочка совсем, – побежала в сад. Все по капарисовой алейке гуляла, дорогу откуда видно. Только я подала кофий, он и всходит, а к обеду только обещался. И опять цельный день, все с нами. Так три-дни все и гуляли вместе. Влюбилась и влюбилась она в него. Ему ехать, а она не отпускает. Ну, уехал. Она мне и призналась – жених и невеста они теперь. А чего раньше было, – это, говорит, ошибка, он ее и не видал в театрах, глаза у него ослабли от болезни. И про графиню сказала – она хорошая, милосердая сестра, за ним ходила. А он Катичку забыть не мог, а навязываться не смел. И портрет все Катичкин в медальоне носит, показывал ей даже.

Друг дружке они писали. А на войне опять плохо, Катичка все телеграммы бегала глядеть. А то пошла я ко всеобщей, уж зима была, гляжу – стоит моя Катичка на коленках в уголку, так-то хорошо молится! – порадовалась я. Так до весны мы и томились. Катичка и говорит: «душа у меня за него болит, чего я тут сижу... там страдают... не могу я, не могу!» Все ее уговаривали, – «с ума сошли, они вот-вот сами сюда приедут, тиф там валит, сами погибнете, и его не разыщете». Нет, поеду. А меня не берет: «Пропаду – одна пропаду, куда тебе, в ад такой!» Уж собралась, – письмо от Васеньки, грязное, три недели трепалось. В Крым переедут, – написал. А тут стали говорить – добровольцы уж подъезжают, один у нас Крым остался. Сразу так все и повернулось, – нечистому сила-то дана! А что, барыня, думаете... и ему дается от Господа, восчувствовали чтобы, в разумение пришли бы. Тут богатые и стали уезжать, загодя. И каретница наша: нечего ждать, надо ехать. Доктор ни слова не мог поперек, она ему всю голову простучала: в заграницу и в заграницу! А у него уж в голове путаться стало, – сидит в уголку и плачет. И говорит мне: «няня, а ведь это мы, мы, мы...» Не поняла я. А он опять: «мы это, мы, мы, мы...» – значит, у него уж мозги замыкались. А она лихая, толстущая, ничто ее не берет. Все гвоздила:

«Скорей ехать, теперь все сумашедчии, после войны, вся заграница сумашедчая, нам не помогла... там мы опять больницу откроем, будем спокойно жить... я все загодя припасла, а с тобой, дураком, давно бы погибли!»

А в Москве у них больница своя была, сумашедчих они лечили, богатых все, им милионы сыпались. А денежки-то они давно в заграницу переслали, им сумашедчии какой-то сделал, вылечили они его. У него банки были, – хвастала она мне, – он и переслал, как вылечили-то хорошо, умный какой. И уехали, на хорошем пароходе, с цветами провожали, на свадьбе чисто. И что же, барыня... я ведь ее тут ветрела! Иду я по базару, с Марфой Петровной, рыбку мы покупать ходили, наважку... очень я наважку люблю. А тут она не наважка, а мурлан называется, а дух маленько на наважку похожий, и не дорогая. Иду я по базару, какая-то с торговкой ругается-кричит, так и чешет, лицо разду-то, красная вся, как пьяная. И одета плохо, какая-то словно сборная. А это она, каретница! И она меня узнала. Помер, говорит, мой супруг в сумашедчем доме, а она ресторан думает открывать. А как же, говорю, сумашедчии дом открывать хотели? Лопнул, говорит, тут французы перебивают шибко. А мне Марфа Петровна и говорит: она у нас в квартале известная скандальщица, ее все знают, муж от нее с ума сошел, и бралиянты она кому-то продать давала, содержателю своему, макре – называют тут так, коту – понашему, а он ушел с ними, она и ни при чем стала. Теперь, говорит, с огромным кабатчиком связалась, с французом, а он ее походя бьет, и днем, и ночью, очень она винцом балуется. Уж своего добилась, ни капельки мне ее не жалко.

XXXII

Ну, уехали они, мы в голых стенах остались, распродала почем-зря каретница все добро. Васенька тут и приезжает, на два денька только вырвался. А его в железный поезд поставили, в Севастополе собирали, воевать. Думали – через месяц и свадьбу справим. Он и мерочку уж с пальчика ее снял, колечко заказать. А графиня и прикатила. К нам прибежала, а у нас Васенька.

Она их в саду застала. И невежа такая... с Катичкой ни слова, а ему кричит, как начальство: «проводите меня!» Лица на Катичке нет, прибежала на терасы, а тот провожать пошел. Катичка ему вслед: – «я вас жду!» А Васенька ей, уж из-за забора: «я сейчас». Часа три прошло – нет его. Катичка места не найдет, а уж и вечер, и не обедали мы, – приходит. Она ему – «долго вас задержали». Стал говорить – расстроена графиня, не мог оставить. Вскочила она – «настраивайте-ступайте свою графиню!» И заперлась у себя. Он ждал-ждал и говорит: «няня, успокойте ее, не могу я уйти так». Стала ей говорить – не откликается. Ушел он, чисто водой облитый. Приходит на другой день, на терасах ее застал. Как уж, – только будто поладили. Только разговорились, по саду гуляли... – графиня на фаетоне к нам! Не узнала я ее: разодела, вольная вся, а то скромно ходила, милосердное платьице только... а тут и надушилась, и шея голая, и юбка зад обтянула, и шляпка с какими-то торчками, такая лихая, разбитная... Прямо к Катичке, ласковая, веселая, так и разочаровала нас! Чуть не пляшет, стала говорить – уезжаю завтра, зашла проститься. «Поедьте верхом, хочу кутить!» Меня завертела, – «ах, какая вы чудесная, няня... у меня тоже няня была...» – все приятное говорила. И Катичка рада – уезжает-то она.

Живо сварганила, знакомых пригласила, татарин и лошадок привел, – это зараньше она распорядилась. И бес прилетел с хлыстом. Узнать ее нельзя стало, до чего дерзкая. Куда и скромность ее девалась, так все за ней и ходят, очень она красивая, а тут как дама такого поведения... ну, мужчины ведь известно. Я уж подумала – не пьяная ли она. Нет. Садиться им – велела татарину три бутылки шиннанского откупорить. Поздоровали ее с отъездом, и я пригубила, а она три бокальчика хлопнула, хоть бы что. А Васенька что-то невеселый, настороженный, все на нее глядел... А Катичка... развертелась, глазки горят, личико – ни кровинки. С бокальчиком к ней графиня, стукнула по бокальчику, выплеснула на юбку. А я думаю – ладно, только бы долой с шеи. Стали на лошадей сажаться. Катичка хорошо умела, юбка у ней амазонная была; бес ей коленку свою подставил, прыгнуть. А графиня Васеньку кликнула помогать. Вспорхнула на лошадку, хлыстомхватила, – та надыбы! По двору проскакала, все форсила. Поехали, поскакали. Потом мне Катичка рассказала, как дело было. Графиня рядом с Васенькой ехала. Хлыст уронит и велит подымать. Заехали на горы, и ночь уж. Стали барашка жарить, сашлыки. И вина выпили. Выпили-закусили, графиня и давай шпильки пускать. Васенька с Катичкой сидел, кусочки ей на палочке подавал, графине и неприятно. А как выпила, невозможно уж стало слушать. Разнуздась, с хлыстом вскочила, и кричит из теми: «Ковров, ступайте ко мне!» Татарин остерег – «барышня, тут место строгое, упадешь!» А там прорва, костей не соберешь. А Васенька не пошел. Стала кричать татарину – привести ее. Побежал, а она его хлыстом по лицу, так он с рубцом и воротился, – она, говорит, сумашедчая. Бес к ней побежал-вызвался, она и его ожгла, и опять: «полковник, извольте ко мне прийти!» Стали его просить – приведите ее. Ну, пошел за ней. Возня у них поднялась в кустах, он ее и привел, насильно. А у него карман вырван на курточке. А у ней шелковый рукав треснул, тело видать. И вся растрепана, не в себе. Ну, вина она запросила. И стали все говорить – домой пора. А она злая сидит, хлыст сломала. Выпила винца и говорит Васеньке: «подлый обманщик!» – и бац! – прямо в него из пистолета! Не попала. Опять – бац, бац, – Катичка и упала в омморок. А та, может, напугалась, – убила, мол! – да в кусты, а там овраг, она и ахнула туда, в прорву. Кинулись за ней, а татарин остановил: костей не соберешь, вот там какая прорва. Насмерть убила, ее через два дни достали только.

XXXIII

А как же, суд был, допрашивали. Васенька доложил все – с графинею они совсем сладились, сказал ей – Катичка его невеста, и она ничего. И устроила им похороны, со зла. А в сумочке записку для Катички нашли: «получите мои обноски!» Зло вот и положила. Письмо еще нашли, к сестре – кузине, католичка которая, хроменькая-горбатенькая, здесь живет. И написано сверху

– переслать через полковника Коврова. Власти прочитали, печатями запечатали, Васеньке отдали. Катичка добиваться: чего она написала? А он ей – «не могу отпечатать». Она ему – «а, тайны у вас?» Он себя за голову хватал, – «как я смертное письмо могу?» Дал ей, а она швырнула. Зло и засело, как заноза. Ему ехать, а она его видеть не желает. Уехал, письма писал, она рвала. Приехал, плечо пробито. Говорю – плечо пробито. Допустила. Как ледышка, губка только дрожит. Он ей то-се, а она: «вы солгали». Да еще чего: «у вас любовь была!» Худой, глаза провалились, пошел – сказал мне: «вы ей вместо матери, няня... скажите ей – чист я перед ней». На войну уехал. Три дня я Катички добивалась, – ни ела, ни пила, заперлась. Я уж в окошко к ней влезла – она без чувств. Две недели болела. Доложила я ей про Васеньку, стала она кричать, как мамочка-покойница: не могу жить, не буду жить! В лазарет поступила, косыночку надела – монашка и монашка. Плакала на нее, – худая-расхудая, одни глаза. Из лазарета придет – как мертвая сидит, на море глядит. Скажу ей: «Катичка, что ж меня ты забыла, словечка со мной не скажешь?» – «Я тебя не забыла, няня...» – ничего и не скажет. А денег у нас нет. И приходит к нам татарин, беса-то все хотел... и сует мне вот какую пачку денег. Говорит – барин Ковров велел, а барышне не сказывай. Говорю – без ее не могу. Он на стол швырнул и пошел: я, говорит, слово дал. А он у них в имении много годов жил, приверженный.

Ну, прибрала я деньги. А на базаре только и толков – большевики Крым возьмут. Все из рук валится, а садовничиха с Агашкой страшат: вот, скоро разделка будет! Агашка с паликмахером спуталась, стал ночевать ходить, волосатый, страшный, и пистолет у него. Опять наверх стала перетаскиваться, хвастала все: губернаторша скоро буду. А тут Катичка мне и говорит: «собери, няня, узелок мне... прошение я послала, на войну еду». Подкосила она меня. Стала проситься с ней... – «куда тебе, мне и одной-то не собразиться». Ушла она в лазарет, два дня не заявляется. Побежала к ней, а там сестры мне: поехала в Севастополь раненых принимать. И приходит на дачу офицерик. Катичка за ним ходила, и говорит – Катерина Костинтиевна что-то заболела, в Севастополе ее удержали, по телефону извещено. А он скромный такой, из ученых, как Васенька. Бе-дный был, бельишка не было, мы ему баринову рубашку дали, и покормим когда. А он стеснительный, объесть боялся, Ну, сказал, – у меня ноги отнялись. Он мне голову помочил, а поднятто меня не в силах. Позвал садовничиху, а она еще на меня: «доплясалась перед дерьмом своим. – перед господами, мол, наплясалась, – вот и без ног». Ткнула меня на стульчик, – я, говорит, не доктор. А офице*рик и говорит: «Нешто можно с таким народом большевиков одолеть! нас горсточка, а таких большие милиены».

Неделю я лежала. А тут и Катичку привезли. Не тиф был, а грипп, за воспаление боялись. Друг за дружкой и походили мы.

Помню, октябрь на исходе был. Садовничиха прибегает, – «большевики Крым прорвали!» – пляшет, крестится, ведьма-ведьмой.

«Пришли родненькие наши, весь свет покорили, Агашка от паликмахера узнала, уж ему дано знать, никого не выпускать чтобы!..»

Погибель и погибель. Сказала Катичке. Села на постельке, бле-дная, мутно так поглядела... – «теперь, говорит, все равно». А я только вчера дров на зиму купила, на шелковую материю выменила, – как же теперь с дровами-то? Тут страсти идут, а я с дровами. Глянула на море, – чтой-то много как кораблей идет, никогда столько не было. Неуж, думаю, англичаны войску везут? А тут с соседней дачи Миша бежит, панаша у них офицер был, в городе служил, калечный, – кричит:

«Нян-Степановна, из города верховой, велел папаша к ночи выбираться, все уезжают!»

Так все и потемнело. А Миша кричит-пляшет:

«На кораблях поплывем! а то большевики всех порежут!»

До Катички добежала, кричу – скорей собираться, уж корабли пригнали, соседи выбирают. А она лежит, ни слова мне, – ну, чисто мертвая. А садовничиха в окно кричит: «большевики всех

офицерей пожгли, всех с пушками захватили, паликмахер телеграмму показывал!» Ручками Катичка закрылась, – слова не могла добиться.

XXXIV

К соседям я, а барыня бегаёт по даче с детской рубашечкой, к груди прижимает. Хавос у них, чемоданы, корзинки, девочки с куклами бегают, она кричит – «скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят!» А девочка варенья банку в чемодане раздавила, текёт варенье, барыня руки порезала, девочки ревут... – ну, какой тут совет спросить. Бегу домой, а на костылях офицерик наш, задохнулся, кричит – «Катерину Костинтиновну спасти!» Обрадовалась ему, повела к Катичке. Стал её умолять. Она ему: «где полковник Ковров?» А он не знает. Идут, говорит, войска, на корабли. Он её умолял...! – «Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас!» Она – никак! Он опять: доктора послали, велели вывезти, всем место будет, – она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уж слышно – автомобили гудят, подводы стучат, – у нас с заднего балкона сошу видно, – и пеши, и верхом, и на повозках, с узлами бегут, волю тянут, скрип-гам, конца не видно, чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы, кусок в глотку не лезет. А садовничиха, гляжу, наши дрова к себе волокет. А я ей – «наши дрова, как ты так?!» – а она себе тащит, скалится. И Агашка уж сундук с паликмахером наверх волокут, да Катичкину блузку под мышку себе поддела, – живой разбой. Заплакала я, – дожили до чего, среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу покланьсь, поехали вниз, и солдатик хромой при них, и ихия кошка с ними. Сердце во мне упало, – ой, страсти, идут на нас, бегут все, мы чего ж дожидаемся? Стала Катичку тормошить: приди в себя, Якубенку вспомни! Глядь, – вот я перепугалась! – верхом кто-то, через палисадник перестегнул, по кустам, по клунбам, на терасы чуть не вскочил, лошадь так надыбы! А это татарин, деньги-то мне всучил. Зубами шелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит, плеткой грозит – «барышню зови!» – выругал черным словом. И Катичка выбежала на шум... «Что вам нужно?» – кричит татарину.

«Начальник приказал на пароход вам сажаться, живо! – кричит на неё, плеткой машет. – За офицерами ходили, записаны у красных, плохо вам! Сейчас уезжайте, я слово дал!»

Она ему свое: «где полковник Ковров?» А он не знает. Воюет, говорит. Коня поднял, пуще закричал:

«Силой вас заберу, приказ мне, головой отвечаю... я слово дал!»

Стала и она кричать:

«Кто мог приказать? Нет у меня начальников!»

«Полковник Ковров велел! Я ему слово дал!»

«Где он?» – опять все свое. А тот свое:

«Этого не могу знать. Прорвались большевики, комендант депешу получил. Я слово дал, к ночи подводу пригоню, будьте готовы! – и пакет вынул. – Вам денег велено передать на дорогу, я слово дал!...»

Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь – садовничиха вертится, на деньги зарится.

Не успела поднять, как он её по спине плеткой щелкнул, она в го-лос. Мигнул мне – возьми.

Подобрала я пакет. А Катичка – «где полковник Ковров?»

«Бог знает! – крикнул, как сумашедчий, – уцелел – уедет!»

Катичка закрылась ручками и пошла к себе. А татарин опять свое: «подводу пригоню, я слово дал!» – и через забор сиганул.

Пошла к Катичке, – она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю – собираться будем? Ни слова. А тут паликмахер прибежал, чего-то посушукался. Садовничиха ко мне. Ласковая такая, выспрашивает, едем ай не едем. Сказала: приказ писан, кто останется – тому место хорошее дадут, а кто поедет, корабли порохом взорвут. Пошла – под кофту себе Катичкин пуховой платок сунула. Догнала я её, отбила. А паликмахер уселся в саду, – похоже, караулит. Стало

темнеть – подвода заскрипела, и татарин тот, с ружьем, на коне. Гляжу – паликмахер в кусты шмыгнул, а татарин за ним, с гиком: «я тебя найду, черта!» И говорит мне: «этот сволочь самый вредный, зачем к вам в сады ходит?» Сказала – Агашкин сожитель это. Он и говорит: «уезжайте, уйдут добровольцы – вам не жить». Сказала Катичке, она мне: спроси, где полковник Ковров. А он все не знает. Так мы и не поехали. Уж татарин кричал-кричал, ругался, – никак. Щелкнул коня, взвил надыбы, – «ну, Бог судит... я слово дал – ваша воля!» – умчал.

XXXV

Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николе-Угоднику: вразуми-укрой, батюшка, проведи невредимо! Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то слободно на сердце стало. Ну, спокойна, нельзя спокойней. Буди Его святая воля.

А ночь све-этлая, месяц вышел. И тихо так, – то ветры были, а тут и листика не слышать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, далеко-ко уж. И гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то. А по соше подводы за подводами, всю ночь гремели. С Катичкой я легла, не раздевалась. Бредила она все, душу мне истомила. Забылась я маленько... и сон я какой видала!.. Обязательно сказать надо... светать уж стало, чуть засинело, – Катичка за плечо меня: «нянь, убили его...» Вскочила я, не разобрала, – здесь кого-то убили? Ка-ак в стеклянную дверь с терасов стукнуть...! – руки-ноги похолодели. Раз-раз! Катичка на постели села, за грудь схватилась, сердечко у ней – тук-тук... слышно даже. Опять – бац! Кинулась я к терасам, – Мать-Пресвятая-Богородица... страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет: «да отпирайте же, черрт!..» – черным словом, грозно так выругался, и стекла вылетели. Я – ай-ай, а это Васенька! Не узнала и голосу его. А он в этой, в мохнатой... да, в бурке, окликнул меня – «это я, няня!» Вбежал с пистолетом, за спиной ружье, под буркой, торчком. Лампу засветила, Катичка – ай! А он – как чужой, глазища страшные, пыльный, лика не видать. Катичка стоит в халатике, за двери ухватилась, а он – кричать:

«Почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил! сейчас же собирайтесь!..»

Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:

«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»

А она – как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:

«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дамся, и вас им живую не отдам!»

Она к нему ручки протянула.

«Нет, не останусь...» – только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.

«Няня, – кричит, – самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим... – и опять, к Катичке: – Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен... найду вас, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно – «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, – Анны Ивановны, папочка с ним скончался, – к грудке себе прижала... – «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей...» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала... докторовы сапоги даже забрала – встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Ба-рыня, ми-лая... да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай...

и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите... тата-рин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то, – больше собак так кличут, – а за. его здоровье, если жив, ем – поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко, хорошие такие, сухие-дубовые... материю какую выменила – не поносила. Уж Агашказмея вертелась-завиствовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, – ничего им не подарила, кроме дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» – из рук рвут-выхватывают, я уж татаринком пригрозила. Только успела увязать, – татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, – покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют... – будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, – и церкви там нашей нет, куда завезут, – не знала ничего. А сон я видала, барыня... как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.

XXXVI

Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место, – кто-то по нам и выстрелил! Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты – бац, бац! – пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с Агашкой, как воронье, – кричит: «я вам говорила, Бог вас и наказал!» Из проулка выбегли какие-то старики, ахают. А тут татарин наш, из кустов, кричит старикам: «большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это паликмахера он ухлопал. Кричит еще: «закона теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничиха с Агашкой вой подняли: «зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут, дела не разобрали, кричат – «татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел, – так и шарахнулись. Что нам делать! Татарин кричит – «коней нет, бросайте добро, за мной, на пароход!» Садовничиха за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли... и глаза не верят! – офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся, и еще два мальчишки, тележку катят. И кричит он: «от Красного Креста велено Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. «Я, – говорит, – клятву дал, все раненые просили барышню Вышгородскую вывезти!» Поклали все на тележку, покатили с горы, пеши мы пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся.

Иду будто я по полю. А поле – глина одна, склизкаясклизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу – все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, – в каждой пролуби огромные, черные, головастые, чисто раки как страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу – себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу – все раки эти страшные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу – «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними... схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, – кричат нам – «переходи,

не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя... душенька это моя увидит, – овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уехали, вон как... по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали... ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели... ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, заранее причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть – и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть... вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала... Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся... да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не позволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.

XXXVII

Пришли мы вниз. На-ро-ду!.. вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: «выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают-кричат: «всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку дают, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: «спокой-ствие! спокой-ствие! все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится». Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком... – «ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись – не сыщутся. А то стали кричать:

«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»

Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал – все корабли на Крыш гнать! «Я, – говорит, – последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали – оставят нас, – такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать – «убийцы, людоеды!.., христопродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокой-ствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем... знаем мы заграничных, как они обирали нас...» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерики и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она – ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:

«Говорите правду, уедете на корабле?»

Все он ждал-сторожил. Говорим – уедем бесприменно. Стал прощаться, – «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман...» – и заплакала. Он ее по плечу погладил – «уезжай, барышня, живи... полковнику нашему скажи – в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась – померла, от сердца.

Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали... Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, – так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, тудасюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблестали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала... – прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, – на горы свет ушел.

Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете... мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» – так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу. К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто доветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы... – те-мные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду... черным-черно. И не разобрать, что кричат, – гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вам, барыня, сказать... Это еще не сажались мы, пожилой человек прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель... с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:

«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!.. – так все. – Погубил я вас, окаянный... попечитель был вамг всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погуби-ли... и все потли-или-и... – будто стонул, – на пустую дорогу вас пустили-и...»

А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них – «дети мои, простите меня, попечитель я был...» Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал, – сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный... как его сдернет с ящика, – «поздно теперь болтать, как все сгорело... ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покался.

Говорили знающие – тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.

Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит... – все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарыхтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичокповар ехал... у него сынок офицер тоже был... наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то... – вот он и говорит, через силу уж:

«Господи... то все в России нашей жили, на солнышке... а вот, в черную яму опустили... доверте-ли!..»

И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все... что уж и вспоминать.

XXXVIII

Да как же не горевать-то, барыня... собака – и та к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку...? Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, – не видать мне родной земли! А вот... Старичокповар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит-елозит, охает. – «Что вы, – говорю, – батюшка, ай чего потеряли?» А он – «слава те, Господи, как же я напугался!» – и показывает кожаный кошель. Подумала – золото-серебро, пожалуй. А это земля, с собой везет! – «Помру на чужой стороне, меня и посыплют родной землицей, а своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так меня в сердце вот... – не видать мне родимой нашей! Гляжу на Катичку – платочек она кусает. Да нет, барыня... сердцем чую, – не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне: «ти-хо, – говорит, – стучится». Ну, ехали мы... У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, – им и каютки... а кто пониже – тому полише. Да там не один был, этот вот... яма-то наша? да, трюм... а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духотищей... – с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать немислимо. Проповедь какую батюшка говорил... – «глядите, говорит, куда попали... в самую преисподню! и нету у нас звания – дукумента, а есть один дукумент – грехописание!...» И казаки были, и калмыки... два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все... и офицера больные, и хохлы были, хлебороды... всякого было звания. И всенощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышнев голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалуются: «Господи, Боже наш... Го-споди, Царь Небесный...» – до слез. И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются – это уж чего-нибудь с нами сделают, – к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутьями даже бьют! – знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под нами, – только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.

XXXIX

Стращали-стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, а пустили на острова, под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вот натерне-лись, Васенька нам рассказывал! Сколько-то тыщ казаков к большевикам отправили, совесть потеряли... на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали.

У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня... – офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, колени так обхватил, лежать уж не мог, сердце не позволяло. И говорит он другому офицеру-калеке: «вот пистолет, у немца отбил... сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговорить. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами, – у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают, да так вот – а-ах! – испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой... доктор сразу пришел, руку пощупал, – матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все – ьи, ьи, – икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя, –

видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще со-юзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался, – уж ему стыдно стало. Калмыкстарик платице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.

Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ – ложкой не промешать... и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят, – от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели – стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь – прокормили.

Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азиаты – всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и... Хлебцем манят, сардинками, – «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки... – на веревочках опускали, а им хлебецдругой, – вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, – «на, – кричит, – иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал, – «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.

Да разве всего расскажешь. А то слух дошел – войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..

А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев... в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.

XL

Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море, чисто на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши, – Костинтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела – заплакала.

На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор... трубку он все курил. Разговорился с Катичкой – очень расположился: «давно, – говорит, – про вас слышу, как вы моих офицерам отчитали... вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокойголенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещение – получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: придет адъютант, заберет. А она умная, – поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает, – «как вам полковник Коров приходится?» – коровой его назвал. А она прикинула, – у-мная ведь она! – «это мой дяденька», – сказала. Обещал с острова нас спустить.

И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии имение-дворец, – сразу она и поняла – влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел – сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать, – на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него... с него слава наша и пошла.

XLI

В гостиничке комнатку мы сняли, лисий салоп продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог, они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам...» Без чего не пускают-то никуда? Вот-вот, ви-зу пришлю. Она ему – «хорошо, пришлите... и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить – адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему – «да, надо приказания исполнять». Стал ее молить – «не мучайте меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вско-чит!.. – «уходи, уходи!» – будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась, – «уходи, уходи», так все. Пошел, она ему – «дай мне письмо!» Гляжу, – а я задремала-притаилась, – вынул он из бумажника письмо, с печатями. Вот она рассердилась!.. «А, всегда у сердца, драгоценность бережете?» Он даже за грудь схватился, – «что ты со мной, Катя, делаешь?!» – в голос крикнул. А она ему – «приди завтра, я тебе все скажу... можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо – бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне – «никогда я не распечатаю!» – «Так и будешь, – говорю, – себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит». – «Что – все?!» – она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила...!» – прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо – швырнет. Совсем схватила, вот разорвет... – за руки меня, исказилась: «Спрячь, не давай мне... себя погублю!..» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня – «дай, не могу я...!» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет, – «а, боялся, все узнаю? Не спал?.. берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или – что всего знать не буду?...» Он говорит – сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские, – сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.

XLII

Неделя прошла – письмо от Васеньки: высадили его на остров. А вот, начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник, правов и нет на ихнюю землю ехать, его и высадили, – Корчики называется, остров-то. А место дикое, горы да леса. «Не тревожьтесь, говорит, я тут

бревна с гор скатывать нанялся, два месяца прослужу – мне права выдадут, в Париж могу смело ехать». А нужда и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает, военный один умных мышей показывал... и стала Катичка места искать, колечко продала. А из барака мы выбрались, – обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик-турка за дворника был, на порошке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка и приценилась. Бесихой такой рассыпалась, – генеральшей в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить – жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грекбогач делом орудует, он вас золотом засыпит. Затащила и затащила, поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда – пузырь живой, а пальцев и не видать, в брильянтах все. Заугощали нас, грек деньги Катичке за ворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш турка и говорит: «бабушек, береги барышню, плохой немка!» А знакомый офицер справки навел, – это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся – яма. А тут и Пасха наша. А какая нам Пасха – в турецком месте да еще на ветру. Страстная подошла, пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревна скатывает. Выходим со двора – автомобиль, а в нем барин, спрашивает у турка, турок на нас и показал. Он к нам: «вы не миса-Катя?» Назвали мы себя. Он и дает письмо, и покатил. Распечатали, а никакого письма, – аглицкие деньги, две бумажки. Ничего мы не поняли, откуда нам сто рублей. Пришли из церкви, а мальчишка и подает письмо, от мисы-Кислой, – дилехтор послал из банка. Тут и узнали, – от нее деньги. Она у графов живет, и у них *все* банки знакомы, она и написала дилехтору, господу сказали. Сам дилехтор нас разыскал, вот какие господато ее были. У них несметные милиены по всему свету... А погодите, что вышло-то... нам эти милиены сами в руки давались, только Господь отвел.

Поговели мы, пасочку я купила, и куличик, греки торговали: нашей тоже они веры, греки-то. И опостылил нам Костинтинополь этот. Катичка вся издергалась, – Васенька на горе сидит, бревна катает, скорей ехатьвызвolyть... а мы чисто как в мышеловке. А город тот греки отвоевали, а у них англичаны отобрали, себе под флаг. Они и шумели, греки-то. Ватагами ходят, с протуваров сшибают, и туркам житья не стало. Греково войско за море погнало турков, в самую эту... насупротив была? Вот-вот, Азия самая. А их отсюда турки назад погнали. Греки и зашумели. На самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вам.

Там лестница ши-рокая-каменная, конца не видно. На лестнице нам старичок-полковничек попался, на нашу церкву собирал. Это раньше он нам попался, с картоночкой на ветру стоял, один глаз выбит. Ну, пошли мы главный собор глядеть, а он по-ихнему уж зовется, – ме-чень. Нас турки и не допустили: сами обедню служим, после приходите. Стоим-глядим, а на кумполе креста уж нету, а месяц золотой, месяцу они молятся. И старичок тут, на церкву-то собирал, и картоночка на груди – Николе-Угоднику на храм. Положила я ихнюю копеечку, он меня и признал. А я в тальме этой, стекляруском обшита, и в шали шерстяной... – он и признал меня: «И ты, горевая, с нами! И тебя закрутило, горевая! – и заплакал. – Все потеряли, – говорит, – пропала наша Россия-матушка. Кончили бы войну, наш бы собор был, и крест бы на нем сиял, и гордовые бы наши тут стояли, не было бы такого безобразия».

И еще наши тут, на собор глядели. А греки шумят: ихний это собор будет! А старичок и крикни: «время придет – наш будет!» А греки на него: «наш! всех победим, со всех денежки требуем!» И казаки наши тут подошли. А старичок все кричит: «не быть тут грекам, придет наша Пасха!» Чумазый за ворот его и схвати, и поволок от собора, – не смей на церкву собирать. Казаки как по-чали их лупить, по-гнали. А тут аглицкие жандармы насккали, плетками разгонять. Казак одного за ногу и стащил, всех и поволокли в участок, и нас с Катичкой, за свидетелей. А казаки маленько выпимши, и смеются: «вот-дак увидали турецкую пасху, справили!»

XLIII

И поглядите, барыня, чего вышло! Казак с нами за свидетеля сидел, приятный такой лицом. И говорит Катичке: «ах, барышня... на Лушу мою похожи как! Такая же барышня и у меня росла, дочка». С офицером-казачонком сбежала, и где теперь – неизвестно. Разыскивал ее все. И присоветовал нам в «Золотую Клетку» поступить: самый, говорит, благородный ресторан, графьи да княгини чашечки подают, а он сашлыки на ноже подносит. Катичку и устроил. А меня к туркам, говорила-то я вам. И Катичку от пьяных оберегал, одного чуть не запорол, ножом тем. Кутящие, известно, – всего наслушаешься. И все богачи, товарами торговали, ну и ломались, выражались. А Катичка строгая, поглядит – каждый пьяница отлетит. Все ее недотрогой звали. А хозяин грек был. Вот и говорит ей грек: «один человек про вас дознается, сыщик... вы худого чего не сделали?» Затревожилась она. А он две недели все дознавался. Сел раз за ее столик и неволит – пригубьте со мной. Она отказалась – непьющая. Ушел, а на столике бралиянтовое кольцо! Она его и окликнула, взял кольцо. Выходит – пытал ее. И турка наш говорил ей: какой-то все про вас справляется, какого поведения. И пропал, сыщик-то. И приходит вскорости в ресторан важный такой старик, с золотой набалдашиной, англичанин, вроде как граф. Ничего не заказывает, сидит – глядит. А им известно: несметный богач, на своем корабле приехал. Опять приходит, за Катичкин столик сел, содовой воды потребовал. Сидит-попивает, на Катичку глядит-наблюдает, и спрашивает: кто вы такая, да как сюды попали? Она ему докладывает по ихнему языку, лучше сказать нельзя. Красавица, а он старый старик, ему и приятно разговаривать. Завтра опять приходит, опять – содовой воды. Богатый-разбогатый, а не расходуется. Грек и говорит Катичке: «растревожьте старичка на расход, вам от меня хорошая польза будет».

Заявляется опять – обед заказал, лучше нельзя. Рюмочку дорогого вина выпил, и Катичке: поддержите компанию. Сразу ей тут вдомек, чего добивается, – короткой ноги. А грек ей мигает – растревожьте! А она – извините, я... – сказать сумела. Он и говорит вдруг: «Простите меня, графья...» – по фамилии назвал! Она ему – «извините, я не графья...» – а он свое: – «не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы высокого рода графья... и вот вам письмо».

И подает из бумажника хорошее письмо. Отошла почитать, видит – мисино письмо, от Кислой нашей. Воротилась, а старика и нет, на стол белую бумажку выклат, – сразу ей капитал очистился. Все барышни – «ах, счастье какое, влюбился в вас, свой у него корабль!» – то-се. И грек прибежал, – «ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте!» А у них случаи бывали: за богачей и замуж вылетали, и так, в незаконный брак, на подержание, характер как позволяет. Жизнь душу-то запутала. А он несметный богач, и автомобиль свой, с корабля спущен, вон какой. Показала им письмо, а они – «это он глаза отводит, смотрите, не промахнитесь». А миса у этого старика жила, у графа, с дочкой для компании, а она померла, они с супругой и поехали горе размыкать, вот и приехали. А она старику все про нас... и в какой мы нужде, и бо-звать чего наплела, чуть мы не выше графов. А Катичка графова тоже роду, по мамочке... Ну, может, и маленькие графы, вы-то как говорите, а в коронах ходили... у них и носовые платки в коронах вышиты... Ну, известно, верно вы говорите, каждый может себе корону вышить, да... у них гусь в коронах летел, грамотка-то была, и в золотых книгах писаны, – этого простой какой человек не может. И такие, говорит, лкди... ежели подравитесь, они вас, прямо, озолотят.

На другой день опять заходит. Покушал, – «хочу, – говорит, – на автомобиле вас покатасть». Понятно, заопасалась: ну, завезет куда? старик-старик, а другой старик молодого хуже. Сразу понял, и говорит: «не опасайтесь, я вам в дедушку гожусь, и мне надо с вами говорить серьезно». Поглядел грустно... – «на дочку, – говорит, – вы на мою похожи!» Ну, согласилась. А барышни ей строчат: «у него дворцы по всему свету!» А то завистовали – страшали: «он

женатый, старуха у него на корабле безногая, требуйте обеспеченье заранее». А грек свое: «не слушайте никого, ловите счастье, мы с вами тогда еще ресторан откроем».

Ну, по городу ее покатали, поговорили. Вынул бумажник, тыщу рублей бумажку и подает: «бедным вашим раздайте!» И еще: «моя супруга желает вас самолично видеть, поедемте сейчас на корабль». Она перепугалась: завезет на воду – уж не вырвешься, гордого не крикнешь. Она и говорит: никуда без няни не хожу. Похвалил: скромная вы, дайте Мтае ваш портрет, супруге показать. Завез ее домой, дала ему портрет. И уговорились завтра на корабль ехать, меня прихватить.

Ну, приоделись мы. Она черное платьице надела, – сиротка и сиротка. Взяла меня от турков на часок, и я прибралась, парадную шаль надела, и наколочку она мне, кружевную, прилично так. Познакомила нас со стариком. Старик – лучше и не сыскать: фасонистый такой, сразу видать – старинного рода граф. Он за нами в ресторан автомобиль подал. Уж так все завистовали!.. Грек старика под ручку подсаживает, а по морде-то видно, будто нас продает. А я молилась все. Ну, чисто в сказках...

Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли.

Лакеи нас встречают, в чулка-ах, в синих куртках, пуговицы золотые. Кланяются нам низко-низко, подручку меня прихватили, а ее сам граф выводил, такая нам честь была. И все цветы-букеты, и повели по коврам в парадные покои. Гляжу – сидит на креслах барыня, зубастая, в шелку вся, седая-завитая, и с костылем... румяная, важная, и так вот... в золотое стеклышко на нас, стро-го!.. Катичка ей присела, ручку поцеловала, – ну, самая что ни есть хорошо-воспитанная. А я, издали, ни-зко ей поклонилась... – стеклышком мне махнула, на кресла велела сесть. Страху я набралась, будто царица на меня смотрит. Ну, по-ихнему они поговорили, хорошо так. Катичка ни разочка не запнулась. Шикалат с пряниками пили, а потом нам корабль показывали, – ума решишься, какое же богатство. А барыня то на портретик поглядит, – дочкин, на столике у ней, хорошенькая такая, зубастенькая только, – то на Катичку на мою. И все ее так – «дитя моя», – Катичка говорила. Будто это у нас смотрины. А на другой день граф, его сиятельство, в ресторан приходит и говорит: «желаем мы с супругой в дочки принять достойную барышню-сироту, и вы нам по сердцу, поедемте с нами по морям, и потом вы скажете, можете стать нам за дочку?» Как с неба на нас упало. А она к Васеньке все рвалась, – ну, как ей ехать! Поблагодарила, – дозволейте, говорит, подумать. Ну, старик ей – «мы через месяц воротимся, и будем на дачах жить тут, вы нас узнаете досконально».

Уехали они. Стали мы гадать, как нам быть. И счастье такое выпадает, и страшно-то: от себя, будто надо отказаться, по их писаться, веру ихнюю принимать! А в ресторане так все и ахнули. Одни советуют – нипочем не отказывайтесь, милиены в руки сами даются, а другие завистуют – «разные бывают дочки!» А грек меня от турков сразу забрал и к посуде поставил, хорошее жалованье положил. А тут от Васеньки письмо: к Парижу подъезжает, скоро нас выпишет. А тыщу рублей, граф-то дал, Катичка нашим бедным всю раздала: святые деньги-то. Ждем – вот воротятся, решать надо. А они и не воротились... сном пришло – сном и вышло. А вот...

Двух недель не прошло, бежит грек, весь перекосясь, как сатана, газетку сует – визжит: «а, шайтан... пропало наше счастье!» И что же, барыня, думаете... ихний корабль на ми-ну наскочил! с войны на цепи сидела-плавала... сорвалась! Порохом его и разорвало. С другого корабля видали, – сразу они потопли, как камушек. Только скамейка выплыла. И уж плакала Катичка!.. Да не капиталов жалко, а лю-ди-то какие... так нас и осветили в Костинтинополе этом страшном, будто они самые родные. Добрые-то все, родные... А было нам это в искушение. Ну, согласись мы тогда поехать...! Будто заман: от себя словно отказаться, а это грех. Вон, приписываются теперь, из корысти, – разве годится так? Все одно, что от бедной матери отказаться, на чужуюбогатую променять. Грек тут же меня в судомойки, и на Катичку стал кричать. А тут самое страшное и началось.

XLIV

Стали мы с Катичкой в Париж этот собираться. Что такой за Париж, и знать не знала – будто большая ярмонка, веселятся там. В ресторане у нас, в Костинтинополе, все барышни говорили так: «поедешь в Париж – сразу угоришь!» Очень хотелось всем. И Катичка все радовалась: «Думала ты, няничка, когда – в Париж попадешь! Раньше только богачи ездили туда, а вот и ты, тульская, в этот Париж-угоришь прикатишь. Как умные-то люди сделали!»

А это на мои слова все она: я про умных все говорила, сделали-то чего. То у себя жили тихо-мирно, а вот и заграничными стали, по Парижам катаемся. Мамочка ее все по Парижам ездила, радовалась... – приедет, и не нахвалится, – в загранице как хорошо! Все вы-кают, образованные какие, и в шляпках ходят, и бедных нет... – у нас бы так-то! Ну, вот и стали мы заграничные.

Ну, хоть в Париж поедем, все, может, лучше, чем в Костинтинополе этом оглашенном.

Думалось так, – приедем в Париж, Василь Никандрыч на вокзале нас встретит, и квартира нам готовая, у дяденьки у его... поженятся они, Господь даст, жизнь поспокойней будет. У дяденьки богатство будто несметное, дача-дворец в Ницах, на теплом море... – он какие капиталы каждый год получал, с углю-то! Уголь они копали с Васенькиным папашенькой покойным, и все у них пополам с братцем было, и именья какие, и дома в Москве... – каждый год половину ему и высылали в заграницу, прорву деньжищ какую, не сосчитать. А он сроду холостой был, не мот какой, а только книжки все покупал-читал... до потолка книжек у него было, Васенька говорил. И годов более двадцати в Париже все жил... – обиделся чего-то, с родины и уехал. Уехать он уехал, а денежки ему подавай.

И посылали, больше миллиона посылали, вон как. Это теперь вот кончили посылать, как оглашенные все забрали, а то и война была, а ему шло и шло.

Васенька его и не знал путем, плохо помнил... – дяденька и дяденька, в Париже живет, только и всего. Маленький еще был, с папашенькой в заграницу ездили, до войны задолго, что ему, лет десять всего было. Только и помнил – толстый дяденька, да все курицей их кормил, да книжки до потолка. В Крыму папашенька Васеньке и сказал, перед самой кончиной, когда Васенька на денек к нему вырвался, большевики вот опять стали одолевать... так сказал:

«А придется в заграницу нам уезжать, мы тогда к Ардальоше на шею сядем, у него шея крепкая, капиталы у него не отобрали... он нас и приютит».

Так и Васенька Катичке смеялся:

«На шею дяденьке сядем, у него шея толстая, сам – как куль... пока на ноги станем – и поддержит».

К семидесяти годам ему, пожалуй, и наследников никого, и одинокой. Ну, мадама, может, была какая. А Васеньке не капиталы его нужны, а первое бы время поддержаться, на анженера хотел учиться, на иликтрического... в Москве еще он учился, да на войну пошел. А тут – чужая сторона, и свой-то человек, такой могущественный, на что уж лучше! Вот Катичка все и говорила – кончатся все мытарства наши. И я все думала: за все нам беды награду Господь пошлет. Ну, и получили мы награду...

Ждем от Васеньки письма, и визу нам обещался выправить... – приходит нам письмо, с ихней маркой... босая дама по полю идет, просто-воло-сая, в одной рубашке, с корзиночкой будто сеет. Я еще посмеялась, – ишь, говорю, чисто с постели соскочила!.. А Катичка моя – ах!.. У меня руки затряслись. Вижу – расстроилась она, губка у ней дрожит. Большое письмо написал, долго она читала, все ахала. Уж потом она мне сказала, разобралась я... И что же оказывается... вечер только Васенька у дяденьки побыл – убежал. А вот, сладко так показалось. И написал нам так... – ноги его больше там не будет, у такого... как он его назвал-то? у дуботол, что ли... Ну, упрямые такие вот бывают, – что им ни говори, чего ни случись, они все свое, долбит и долбит в одно. Да дуботол-то, это еще туда-сюда, а он... живой-то сквалыга, хуже чего нельзя. А вон, книжки все прочитал, до потолка!

Вот уж я всего повидала-то, людей всяких... какие неверные бывают, а образованные еще, барыня. И вспомнить стыдно. Хоть бы того артиста взять... в Крыму дачито отымал, а какой будто знаменитый! Да что, такие люди неверные пощли, каки-то перевертени... – сегодня он будто человек-человеком, а завтра в остроге от него отмахиваются. Так вот и с дяденькой, такая незалада вышла.

А вот что вышло. Это уж после Васенька нам сказал, забыть все никак не мог, как его дяденька приветил.

Разыскал он его в Париже этом... ну, известный он там, консули наши его знали, адресок сказали. Ну, разыскал его. Хорошая, говорит, квартера, цельный этаж квар тера... и лакеи у него, французы все, господами одеты. Он ему сперва письмецо послал, воспитанный ведь Васенька... – так и так, до Парижа добился, повидаться бы как, когда ему можно побывать. От него бумажка пришла, скорая телеграмма, – приходите после девяти, вечером, он его и примет для разговору. Ну, что же, у каждого свои порядки, особо обидного тут нет. Ну, приходит. А одет он, сами знаете, барыня, как... после таких мытарств, да еще на том острове, на Корчиках, лес голыми руками спихивал с горы, оборвался... ветром подбит, сапоги по пуду, на гвоздях... английские сапоги на нем, ходить, говорит, по мостовой страшно, гремят-то больно... руки до крови ссажены, с бревен с тех, себя стыдно... пиджак зеленый, военный, английский тоже, брюки в дырках, а на шинельку и смотреть, говорит, страшно, ихние городовые два раза задерживали, по документам сверялись, из какого он звания, не бродяжный ли. А лестница там в коврах вся, в зерькальцах... и стыдно себя, в зерькальцах-то, чисто он пропащий какой, в чужое место забрался. Его лакей-француз сразу и не впустил, докладываться пошел, а карточки у Васеньки нет, рекомендации... ну, его он за французскую попрошайку и принял. Васенька по ихнему чисто может сказать, лучше другого француза может, высокого воспитания, и с англичанами говорить умел. За дверью его оставил, лакей-то. Дяденька и высунул голову из двери, оглядел так осмотрительно, с опаской... переспросил:

«Вы кто же такой ко мне... вправду, Ковров вы? а как вашего папашу зовут?»

Вон какой опасливый человек. Ну, правда, мальчиком его раз видал, а тут офицер военный, росту высокого, и одежда такая, не по месту.

«Да, – говорит, – я полковник Ковров...» – так и так, и как папеньку звать, сказал. А тот ему не верит словно:

«Полко-вник?... – говорит. – Молодой вы такой, и – полковник!.. – приглядывается сам. – Да... будто похожи вы на Никашу. Милости просим, войдите».

Ничего обошелся, подивился даже – «хорошо говорить умеете, очень чисто, французы так говорят». Удивился очень, какой обдерганный. И по-нашему стали говорить, лакеи чтобы не поняли... старик сам начал, совестно ему стало, что ли, чего еще подумают. А такое богатство, зерькала, ковры бархатные, ступить страшно. Ну, в кабинет его посадил, чаю им подали с печеньями. А Васенька и не обедал, денег-то у него в обрез, булочку только пожевал на ходу, еще не огляделся. И везде, говорит, картины, партреты всякие, кни-ги, до потолка... и ста-ту-и всякие, и тунбы белые... чисто музеи. Велел дяденька по рюмке мадерцы им подать, со свиданьцем. И велел все рассказывать, что было. Долго ему Васенька говорил... А на тарелочке, говорит, четыре сухарика только было, брать-то словно и не удобно. Да еще дяденька сам ему один сухарик положил... – «кушай, говорит, эти сухарики из самой лучшей кондитерской, из чистого масла». А Васенька-то думал – вот его дяденька обласкает, пожить у себя оставит, хоромы-то такие... а он ему так:

«Готов тебе помочь, до места пока триста франков на месяц могу тебе ссудить, теперь времена тяжелые, трудно жить. Из одежды чего могу дать, вот пальтецо у меня драповое есть...» – и велел лакею принести показать, и полсапожки со шляпой.

Васенька тут и понял – ску-пой дяденька его, сквальга вовсе... другой рюмки и мадерцы не предложил. А с лица, говорит, неприятный такой, жирный, губу все отдувал, брезговал словно им. Ну, и это бы ничего, первое бы время поддержаться, на анжинера добиваться. И обидно, понятно, было... старую одежду ему дает, от капиталов-то! Не обижать чтобы, пальто Васенька

примерил, широкова-то маленько, да ничего, теплей так. И шляпу ему дяденька пожертвовал, котелком, тоже великовата, на глаза падает. Сказал – «бумажки ты подсунь, как раз и будет... а шляпа эта из самого первого магазина, только первые люди покупают». А полсапожки узки, нога-то у него размятая, с ходьбы с такой, да портянки натерлисились. – «А все-таки возьми полсапожки, – сказал, – сапожник сколько-нибудь да даст, а тебе все барыш».

Велел лакею завертывать. И завтракать велел приходиться по воскресеньям. А лакей тут с докладом подошел, сказал – «готова ванная». А Васенька-то думал – для него это дяденька велел, а ото самому дяденьке купаться. Сказал лакею – хорошо, – больше ничего. А Васенька три месяца не мылся, с грязи весь обчесался. Ну, вое бы ничего, другие и такого не имеют, – про родного человека говорю... Все расспросил, как братец Никаша помер, как все ограбили, сколько раз ранило, – про все ноантиресовался. А потом и спрашивает Васеньку, сурьезно так, лоб наморщил:

«А ты, милый мой, за что с большевиками сражался, за какое управление?»

Стал ему говорить, не за управление, а за Россию за нашу. А тот – за какую Россию? А Васенька все уж разглядел, понял... в кабинете у дяденьки энти все!., а вот какие с бонбами-то ходили, сацили-сты, барыня! все карточки их навешаны, рядками... а то и подписаны, вон что. Чисто, говорит, музей страшный, самые страшные даже там! Он и спросил дяденьку про одного:

«Вы, что же, знакомы были с этим человеком, бонбы кидал?»

А тот ему важно так:

«А как же, это мой друг был... ишь, на карточке так и расписался – „моему дорогому другу!“ – так и ошпарил Васеньку.

И друзей этих у него – полны стены! Он будто ихнему делу помогал, денежки им давал. Ну, сквалыга, много-то не давал, а так, сотню-другую, может, и отдирает от себя, а они ему карточки носили, для украшения. А это он, Васенька нам потом рассказывал, на царя обиделся, будто... каку-то книжку написал, а ее не дозволили читать, он и обиделся, и уехал вот в заграницу. А на уголь-то не обиделся, денежки свои требовал, и с именьев ему текло. А скря-га! Васенька говорил, – жили с папенькой у него, так он их все курицей кормил, курицу на три дня разогревали, они уж в ресторан обедать ходить стали... – вспомнил про дяденьку, какой скупой. Так вот, все друзья его были. Васеньке неприятно, а тот, чисто нарочно, давай ему все показывать, и карточки, и книжки всякие, и все нахваливал, как хорошо-то сделали, царя сместили... только вот дураки напортили, помешали, – большевики вот и навалились. Васеньке бы смолчать, хуже терпел, да и старик-то вздорный... а может, и от обиды – денег ему не посылают... смолчать бы лучше, такого дуботола словом не выбелишь. А он душойтелом поразбился, да голодный-то, да ласки не увидал... – он дяденьке и выговорил, не стерпел. Я по их сказать не умею, мудрей он сказал, а так будто:

«Вы страху не видали, жили спокойно, и теперь хорошо живете, и вам папаша денежки посылал, а вы этим врагам помогали, все переменить чтобы. Ну, и радуйтесь... все переменили! А мы головы клали, чтобы дело поправить... и сколько нас полегло, молодых... жизни мы не видали, калеки теперь. А вы еще спрашиваете, за какую Россию воевали! Одна у нас она. Не видали вы ничего, – ну, вот, на меня смотрите!..»

А у него рана на ране, рваный, истерзанный, руки побиты, хороших сапог нет, и как на жулика на него глядят, в квартиру пустить боятся. Он ему начистоту и выложил. Дяденька так и заполошился, слова сказать не мог, только – ка-ка-ка... ка-ка-ка... – запнулся. А Васенька разошелся, – не унять. В прихожую выбег, шинельку свою схватил, а лакей к двери кинулся, не пускает. Понашему они кричали, лакею-то не понять, – перепугался. Тот лакея отшвырнул, сильный он, ведь... выругался поихнему, а дяденька за ним – «постой, погоди!» А лакей в Васеньку вцепился, такой скандал. Васенька его саданул, как надо... он и по-англиски умеет, и по-ихнему умеет, очень воспитанный... ругнул его так...! И дяденька приказал лакею не встречаться. Стал говорить – нечего сердать, возьми пальтецо и шляду... А тот, понятно,

расстроился, все-то разворотил-припомнил, чего ему выпало на долю, сердца не мог сдержать...

«Лакею вашему подарите! от вас ничего не надо... такое от вас наследство получили... довольно с нас!..»

А старик тоже раскипятился, кулаками замахал...

«Так ты, – говорит, – за наследством ко мне явился?... – не разобрал, в горячке, – обиделся, что не новое пальто... мало тебе на месяц положил? А я, может, пощупать тебя хотел!..»

Чего сказал-то, не постеснялся. А тот, сердце-то разошлось...

«Довольно с меня, по-щупали!..»

И ушел. Старик ему на другой день триста франков прислал, а тот ему ту ж минуту назад деньги, ни слова не написал. Старик к нему прикатил – давай мириться! Да и наскочил на камень. Васенька к нему вышел на лестницу, к себе не впустил, упря-мый тоже... только и сказал:

«Идите к вашим друзьям, а обо мне, прошу вас, не беспокойтесь... не пропаду без вас!»

Дверь перед носом и захлопнул. Тем дело у них и кончилось.

Уж он в американский банк поступил: знакомого анжинера встретил, у папеньки на угле служил, он его и устроил. Прислал Васенька нам денег и визу обещал выправить. Так и расстроилось. А Катичка все-то говорила: у дяденьки отдохнем, на теплом море. Вот мы и отдохнули. Да что дальше-то вышло, барыня...

XLV

И приходит к нам газетчик, – на улице Катичке попался. А он Катичку знал, как сыматься ее возили, в Крыму когда. И говорит: «вас и здесь на картинках смотрели, – прямо ломилась публика!» И у него уж будто дознавались дилехтора, где такая красавица, – из Крыма он загодя усклизнул. А он и в ихних газетах умел печатать. Поднесли ему винца, он и расположился: «да тут прачки сыматься лезут, а вы самая главная зве-зда!..» все ее так – зве-зда! – «да вас с руками и с ногами все оторвут, цены вы себе не знаете!» Наговорил нам с три короба. – «Я, – говорит, – этого дела не оставлю, тут и для меня жареным пахнет», – и укатил. Катичка так расстро-илась, сама не своя. Вытащила свои патреты, и все перед зерькальцем, глазки таращила, красовалась. Пошли на службу, а барышни и показывают газетку, а там про Катичку. приехала знаменитая звезда, уж ее американцы торгуют! Газетчик тот нахвастал. Так все и подивились, и грек как-то... – и верит, и не верит: «может, вам, – говорит, – милиены посыплются... меня не забудьте». Приходим домой – письмо от Васеньки. У той, горбатенькой, побывал, католичка которая, графы-ни сестра-кузина. Она уж в ихнем монастыре, и веру сменила. Да хроменькая еще, – ну, кто за себя возьмет такую. А характер у ней – ангел чистый. Так и отписал. Письмо, то, страшное, прочитала монашка, перекрестилась, четки стала перебирать. И сказала, монашке как полагается: «воля Божия», – по-французскому сказала: по-нашему, может, разучилась, ай уж ей так полагается, католичкам: «и желаю вам счастья, и вашей супруге, и я ей напишу, в благословение...» – адресок спросила.

Васенька нахвалиться не мог, какая божественная. Годков уж за тридцать, иссохлая вся, живые мощи. Катичка так и осветилась, письмо уж нестрашно стало, – нет на нас зла у католички.

Только порадовались, – через три-дни заказное нам, с черной каемочкой, и с печатью с черной, по упокойникам вот печатают. Испугалась Катичка: помер кто-то! Распечатала, – от нее, от католички, сверху иконка нарисована, Мадонна называется. Самая тут змея к нам и подползла, с печатью-то. И слов, барыня, немного, да другое слово ножа вострей. Она и наточила, нашла слова. А так французское письмо, воспитанное. Значит, так... – «желаю вам спокой душе, и вашему жениху... как благородно поступил... и душа моей мученицы-сестрицы будет молиться у Господа...» – про Господа помянула! «у престола господня... и пусть ее страдание не мучает совесть вашу... а я, говорит, буду молиться – прости нам, Господи, согрешения». И имя

приписала: сестра Бетриса. А внизу, с уголку, – была графиня Галочкина. И правда, Галицкая. Вот и монашка: зло-то чего не делает! А ее злая любовь в католичку загнала, злость-то в ней и кипела. И образованная какая... Да что, простому человеку в ум не взойдет, а образованные сумеют написать. С Катичкой-то чего было? Да уж сами понимаете.

XLVI

Сразу закаменела будто. За головку, вот так вот, стиснулась, помертвела... Я – «что с тобой, что с тобой?» – не Васенька ли помер, подумала: похоронное письмо... – после уж она все сказала, не знала я. А она «оставь, ничего». Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик, и кушать не желает. Ночь подошла, и она и спать не раздевается. Два дни так, воду только пила. Благодетель наш пришел, казак, – «чего не приходите, грек грозитя, тыщи народу набиваются». Шепнула ему – барышня прихворнула, придем завтра. А она уж чемоданчик купила, деньги-то Васенька прислал, а то наши шибко ободрались, Парижу показаться совестно. А тут и Париж полетел – «не поедем никуда!» Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки! Печка у нас топилась, бац в печку, не распечатавши. Тут я и поняла: старые опять дрожжи. Дернуло меня, и говорю: «Чего изводишься? красивая, молодая... клином, что ль, свет сошелся? Я вон и сон видала – собака к нам прибежала, друг придет». Как она на меня глянет...! – глазами обожгла. Дня четыре так мы молчали.

Жарынь, духота, двор вонючий, турецкой, и помойка невывозная... да медники во дворе, по тамам стучат, голову простучали, и мух этих... терпенья нет, как жилили, – турецкие, что ль, злющие такие, – а она лежит – жалости смотреть, всю ее мухи иссосали, а она не чует, как упокойница. Надумала-належала, как вско-чит!.. – «Это я-то! в яме-то такой!..» и давай хохотать-качаться. Подумала – с ума она сошла. Глядит в угол, на метлу, будто чего там видит, метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет. Одевалась она, припудрилась, губки ружой этой навела – пошла. Сердце у меня упало: ну, в море кинется! А тогда сколько бывало так-то. Дрожу – молюсь. Часа два я томилась, – приходит, редиски мне принесла: покушай. И сама погрызла. Телеграмма нам. Прочитала – порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма... На службе отказалась, и меня взяла с места, замудрила: «довольно с нас», – говорит. Вижу – с голоду будем помирать. Встала поутру как-то, поглядела в окошечко... а и глядеть-то некуда, на вонючую помойку, да окно в окно скорняк безносый кошачьи шкурки сушил... И говорит, будто кому грозитя: «да что я, пыль какая? это я-то!.., чего здесь торчу, чего жду?!» – за голову себя схватила. Обрадовалась я, – «и всамделе, говорю, чего нам тут прожиться... и виза есть, и деньги на дорогу присланы, там, может, по светлей нам будет». Как она захохочет...! Деньги выхватила из сумочки... Васенька нам прислал... в клочки изорвала! Я потом их подобрала, в платочек завязала, мне знающий человек в Париже уж обменял, на хорошие, ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки, оставила на меня... – глаз свести не могу, будто меня заморозила, истинный Бог. С пеленок ее знаю... – а она меня ликом обожгла! Чисто ее сменили, не Катичка. Я такой красоты и не видала, такой страшной. Глазищи стали – сожгут прямо. Волосы разметались, личико разгасилось, рубашечка с плеча спустилась... – будто не человек, не Катичка моя, а арха-нгел грозный. И такая красавица, – каждый с ума сойдет. Заморозила – не оторвусь. И будто не своим голосом:

«Обноски донашивать?! – записочку-то ей графиня – „получите мои обноски“? – про Васеньку, будто, намекнула, – чашечки подавать? грек грозитя?! Довольно, сыты! Чего ты ревешь, дура? – а я напугалась – заплакала, – теперь смеяться будем! Никому не покорюсь, мне будут покоряться!..»

И что же, барыня... все тут у нас и переменялось, ахнуть я не успела. А вот, сразу другие уж мы стали, такие чудеса начались!..

XLVII

Дня три по городу она бегала. Пришел опять газетчик, и еще с ним, заморский, допрос ей делал и в книжечку писал. «Укладывайся, на новую квартиру!» Гляжу – мамочкина колечка на ручке нет. Спросила ее – неуж заветное продала! «Не твое дело, собирайся»: В богатую гостиницу переехали, в два покоя. Все партреты расставила, и все мне – «довольно, новое все будет!» Заплакала я, от горя: с ума будто она сошла. Схватила меня за плечи, – ну, трясги! – «Ты что плачешь? чего боишься?» – «Нет сил, – говорю, – помру – на кого ты останешься, такая?» Затревожилась она: «бедная моя, замучила я тебя, несменная моя, иконка моя!..» – стала целовать, заплакала. Ну, чисто ребенок малый: вскочила, прыгать давай по комнате, – «все будет хорошо!» И показывает письмо: полковник тот приезжает. Так это мне – собаку-то я во сне видала! А она и платье новое, и шляпку, – из каких денег, думаю. Чай велела сельвировать внизу, в ресторане, – ничего не пойму: сошла и сошла с ума. Попировала с какими-то, и приходят они все к нам, и газетчик с ними, на партреты глядели, англичаны. А газетчик руки потирает и по-нашему так ей все: «ну, наварим мы с вами пива!»

И пошел у нас коровод: и в телефоны ее требуют, и... никогда ее дома нет. Прибежит, как угорелая, посвистит, – свистать стала, как папенька покойный, – «обедала ты?» – вспомнит все-таки про меня. Велит лакеям, – на пяти подносах мне принесут, глядеть страсти, кусок в глотку не лезет. Чайку с хлебушком попою, скажу – обедала. И приезжает к нам полковник. А уж он в генералы вышел, и ему высокое место. В Эн-дию! – губернатором главным, вон как. И Катичка уважительная с ним, самая воспитанная. И все ему известно, про Катичку, – звезда стала. И стал он ее прогуливать, как хороший кавалер. А Кислая нам двести рублей прислала, разбогатела от старичков, какие вот утопли: сколько-то отказали ей, и домик в деревне, с матерью она жила. И к себе зовет, отдохнуть. Какой уж отдых, Катичка развертелась – удержу нет. Собирайся, перебираемся! В самую первую гостиницу и перебрались. Царские хоромы, прямо войти страшно. И са-лоны, и телефоны, и ванные... швицары кланяются, и горничные виляют, и лакеи... Перво-то время в ванную сесть боялась, ну-ка, обидятся – воспретят? А ей – чисто и сроду так. Потом уж и я обыкла: захочу чайку – прикажу: «Ну, как мы такую квартиру оправдаем!» А она все: «пыль им надо в глаза пускать!» И какие тувалеты пошила – принцессам только. Каки-то сеточки надевать стала, как рыбка серебряная, склизкая, – дивлюсь только. Ручки-ножки растирать барышня ходила, ноготки править, как уж тут полагается... духи в ванную лила, делала воду голубую, а то розовую... и волосы обстригла, чисто мальчишка стала, заплакала я над ней. Паликмахеру каждый день – пя-ать рублей, подумать страшно. И откуда берется. Знакомые зайдут, по «Клетке», где мы служили, никогда ее дома нет. Со мной посидят, – какое, говорят, счастье вам выпало, полковника-богача нашли. Бесстыжие... И казак-благодетель приходил: «Завиствуют у нас, как наша барышня хорошо устроилась... Я, – говорит, – не осужаю, все лучше, чем для забавки к турку». Легко ли, барыня, такое слышать! И я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему: – это ей за картинки дают, бумаги с дилехторами пишет. Все, говорит, возможно, что и пишет. Намекнула я Катичке. «А что, – говорит, – может, на милиены променялась, как думаешь?»

Поглядела на нее, – нет, Катичка моя все такая, ягодка свеженькая, нетронутая, без поминки. Да так, барыня, уж знаю... я каждую по глазам узнаю. А у Катички глазки – святая водица, чистые. И говорю ей: «а так и думаю, не променяешься». Василисой-Премудрой назвала, вон как.

XLVIII

Приезжает раз, упала на кресла, перчатки стаскивает, – стяни, не могу! И улыбается: «купи-ли-таки меня, до-рого купили!» Я и заплакала. Рассерчала она: «в „Клетке“ наслушалась? а еще Богу все молишься! Вымолила... первый дилехтор бумагу подписал, сымаь будут... три

красавицы было, всех победила!» И теперь уж не Катичка, а звезда! Больше тыщи за неделю положил дилехтор. Я так и ахнула. Она мне тут цельную пачку сунула, – попрячь, у тебя целей будут. Я и купила у турков кошель сафьяновый, на грудь повесила.

Письмо нам лакей на серебряном подносе подал. Гляжу – побледнела Катичка. Почуяла я – от Васеньки. А давно не писал. Прочитала, опустила ручку, задумалась. И шепчет: «ну, и пусть... конец...» Да как вскочит!.. – и засвистала. А генерал... да, вспомнила, – Гарт фамилия, – ему скоро в дальнее место ехать. Говорю ей: не присватывается... хороший человек словно? Только иоулыбалась. А служба ее тревожная, не дай Бог. То в море увезут, то по горам на верблюде ездит, а то турки ее из башни крали, на канате перетягивали, в корзинке... Воротится – Гарт прикатит, наглядеться никак не может. А диликатный... Много он для нее старался: с Америки даже телеграммы слали. Думаю-молюсь: Господи, хоть бы этот-то не отбился, фамилией бы ее прикрыл, а то такие все оторвы, артисты эти, сымальщики... да все ловкачи, красавцы, так и кружат. А уж годки-то ей подошли... Как не быть, бывали, барыня, искушения...

Раз проводил ее Гарт домой, ручку поцеловал, уехал, А уж ночь глухая. Только ушел – молодчик к нам, ихняя звезда, испанская. А как же, у них и мужчина тоже звезда бывает. Такой черномазый, ухарь, – все барыни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинки сосать, пойло такое, для баловства. А я гляжу в занавеску: голова к голове, сосут-смеются, ушко об ушко трутся. И уж он, чую, урковать стал, по голосу-то слышу. Да и обнял! Она вскочила... грозит ему, а у меня ноги отнялись, и голосу нет. А он на нее, нахра пом! Она как выхватит из серебряной сумочки пистолет, он сразу и назад, руку к сердцу, пардон сказал. Будто так, представление такое. У них барышне без пистолета никак нельзя.

Зима пришла – к грекам поехала-порядилась, а меня в номерок устроила. Сижу-скачаю, вдруг телеграмма мне! Прочитали знающие, – требует меня к грекам. И все распоряжения дала, наш штас-капитан бумаги мне схлопотал, и на корабль меня посадили – довели. Катичка ветрела, кинулась целовать, шепнула: «без тебя беспокойно, не могу». Возила меня по грекам, старые дома показывала: не на что глядеть, а все глядят, обманное такое место. А потом на руки меня горничной сдала, в номерах. Fly, я с ней и сидела, с гречкой, с грецкой женщиной... не по-нашему они говорят, греки-то, а словно нашей веры. А Катичка картинки делала. Она в простыне сымалась, – показывала мне, – кру-ти-зана, называется... а может, крути-задка, хорошо-то не помню... и ее маслом арапки натирала, и потом она яд пила, из чаши. И еще на спину к лошади ее привязали, по полю все гоняли, много было.

И опять мы в Костинтинополь приехали. А уж ее к немцам порядили, за большие деньги. Опять мы в ту гостиницу, и что-то Катичка невеселая. Я ее и попытала: «может, стесняю я тебя, отдельно бы уж мне лучше?» Годки-то ей подошли, а сами, барыня, говорили – каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю... вот-вот, для партекции, как вы-то говорите... и дилехтора добиваются, правда, уж я это дело знаю. В душу-то к ней не влезешь. Барин слово с меня взял, не оставляла бы... да ведь слово-то мое, а дело-то ее. А она мне: «Надоела, отвязись». А не по себе и не по себе ей, вижу. Забилась я в уголок, на глаза ей не попадаться, три дни сидела. Она и учуяла, смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила... – «ах, ты, старенькая моя, нянюля моя, старый ты век, древний человек...» – вспомнила, как писарек ругался, – «мытарю тебя по свету, а не могу... иконка ты моя, хранительница!» Обей мы и заплакали.

Как-то повез ее Гарт к главным послам на бал. Утром она и говорит: «мне Гарт предложение сделал, рада?» – «Что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше». И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит: «поеду в Париж, а там увидим». И стал он ее просить: «поедем-те в Эн-дию, всякие чудеса увидите», – хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался, оберегал от воров даже... воры круг нас вились... эти вот, вот-вот, иван-тю-ристы. Он и приставил сыщиков, казенных. Один жулик рядом с нами номер снял, жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают, а я не пошла... а в коридоре сыщик троих и зарестовал, уж они с коридорным сговорились.

XLIX

В Париж нам ехать – проводы нам Гарт устроил, в самом богатом ресторане. Никогда она меня на пир не брала, – да и правда, куда горшку с чистой посудой знаться. А тут, чего-то издергалась, на меня накричала, весь день со мной слова не сказала. И приходит к нам благодетель наш, казак, а он к нам запросто хаживал. С радостью пришел, маленько выпимши: дочка его, с казачонком-то, у сербов отыскалась, и они поженились, и его выписывают к себе. Уж он у грека расчелся. Ну, пришел, а у нас расстройка. Помялся-помялся, видит – угощения не подаем. Я-то ее боюсь тревожить, а она в уголок забилась, насупилась. Он и говорит: «ай загордели, барышня, старого казака не признаете?» Катичка спохватилась... – «нет, я вам рада, давайте чай пить».

Ску-шный такой сидел. Она и стала его обласкивать, мадерцы подать велела, сардин-ков... Сама ему наливает: «Родивон Артамоныч, дорогой гость, кушайте, пожалуйста». Так он растрогался, все извинялся, что беспокоил таких людей. Да еще мадерцы выпил, стал говорить:

«Вы божеского роду, вам счастье Господь пошлет. Думаете, мы не видим? Мы все-о видим... старушку как уважаете, простого человека. Я графьев не люблю, они го-рдыи... а вас я признаю-уважаю, наша вы, расейская барышня... не можете возгордяться! Казак – вольный человек, никому не обязан. И вот от старого казака...»

Вынул из кошелька Тихона Задонского образок, с двугривенный, об ушке, серебряный, и дает Катичке:

«Этот образок заветный, святой человек мне дал, на войну когда... не будет печали, говорит. Мне теперь нет печали, дочку нашел. А вы, барышня, скучаете, я все вижу... всякую печаль разгонит!»

Приняла она образок, перекрестилась, так ей приятно стало. И поцеловала нашего благодетеля в голову. А он так растрогался: «не будет вам печали, попомните старого казака...» И сразу нам легко стало. Вечер подошел, на пир ехать, она и говорит: «собирайся, няня, хочу с тобой». Я и так, и сяк, куда мне, грошу, с рублями... – нет и нет: «хочу так, мне с тобой легче, хоть ты и допотопная». Особо неприличного нет, понятно... все уж ко мне привышны, няня я ее старинная.

Пи-ир... – словами не сказать. Парадные нам покои отвели, в огнях, и все знакомые, и сымальщики, и англичаны, и итальянцы-ы... кого-кого только не было! А Гарт на главное место Катичку усадил, и букеты ей, и... себе белый цветочек приколол. И все генералы были... с саблями даже были. И шимпанское вино в серебряных ведрах приносили, и кре-мы, и пирожки... самый богатый пир. А я с краюшку сидела, вязала. На мне шелковое платье было, муваровое, и наколочку Катичка мне приладила, – сижу, будто я образованная. И уж ночь. Они разговаривают-пируют, а я дремлю. Как мне под руку ктой-то!.. Глянула я, – уси-щи, чисто щетка сапожная, морда-а... – самовар медный. Итальянец это ко мне пристал, с парохода капитан, на его пароходе хотели ехать. Пристал и пристал: желаю с вами выпить! А я непьющая, да испугалась, сказать не умею, а он мне в губы сует, шимпанское вино. Я его под локоток чуть, отвязался чтобы, бочка и бочка винная. Он и скажи, – после уж я узнала: «красавица такая, и старый товар за собой таскает», – про меня-то: «для охраны таскает... строгой у ведьмы глаз!» Она и услышала! Да тревожная все, да шинпанского-то вина пригубила... она и загорячилась: «не хочу слушать дерзостей, просите у ней прощенья!» Скандал такой, и Гарт перепугался, успокаивать ее... сижу-дрожу, а она – чисто архангел грозный-! А итальяшка – пьяней вина, бух на колени передо мной! – истинный Бог. Страмота такая. «Мадама, – говорит, – простите меня, грешного!» Руку мне и поцеловал, безобразник. И винищем-то от него, и табачищем, и чесночищем... И перед Катичкой на колени встал. А она развертелась вся, встала возля меня и давай кричать:

«Старый товар, она, ведьма она?.., а лучше для меня всех!» – не могу, барыня, не плакать.

И выстерика с ней случилась. Гарт ее подхватил, нюхать ей соли вострой. Больше и не пировали. Гарт нас на автомобиле домой привез, так беспокоился. Только отъехал – она на меня топтать!

«Из-за тебя, дуры, такой скандал! Стыдно мне!..»

Утром ра-но вскочила, в телефоны Гарту посмеялась. А я и глаз сомкнуть не могла, все плакала. Подбежала – поцеловала в глаз. А я притворилась, – сплю, мол: стыдно мне. Куда-то убежала. Прибегает – чурек мне горячий принесла, и сама жует... – любила я их, горяченькие, будто калач наш.

L

Поехали мы в Париж. То по морю хотела, а тут сразу отменила – по машине. Цельный дом с собой повезли, се-эшь сундуков, да чемоданы, да у меня на руках сколько, – приданое будто набрала. Провожали с почетом, и Гарт провожал, – в Париж обещался быть. Вот у ней рвали деньги, наща беднота! А она – сколько ни попроси, все отдаст. Я уж у ней деньги отняла. То рвалась в Париж скорей, а как поехали, ну... издергалась: успеем в Париж, сворачивай. Приедем куда – нет, в другое место поедем. Закружила она меня. То ямы в горе смотреть, то дворец ей занадобится... измаяла меня. Приедем в какой город, – опять газетчики эти, и так, шлющие, карточки с нас сымают... Вот, цыган венгерской и прицепился, – говорила-то я, – на гитаре нам все звонил... Венгры там живут, ехали-то мы?... Наняла автомобиль, прорву какуюто глядеть, самая-то глухая глушь. Будто нам и в Париж не надо, – все она мудровала. А к ночи, место глухо-е... – автомобиль и поломайся, не может ехать. И говорит, шофер, вылезайте. А он страшный венгер, живой разбойник, глазами на нас так... – вылазьте! Думаю – ограбить нас хочет, нарочно автомобиль сломал. А на нас цельный капитал, жемчуг один большие тыщи стоит, на Катичке, под мантией... а у жуликов глаза вострые, даст кулачищем – и обирай. Слышим – за нами скрип! пять подвод, как вагоны, и машина их волокет, и вой там, будто грызня какая. А это цирки бродяжные, зверей везли. Рыкают звери, грызутся там... остановились вагоны. Хозяева подошли, поантиресовались, и девка выпрыгнула, цыганка вроде, лупоглазенькая, стала лопотать. И хозяева кричать стали. Все с трубками, в таких вот шляпах, чисто пастухи, а глаза самые разбойничьи. Промеж двух огней и попали, – грабь и грабь. Катичка за ручку с ними, и говорит мне: поедем со зверями! Нас и посадили в вагон, девка вот где жила. Коморочка такая, и постелька у ней, чисто так, вонь только, от зверей. Дожили до чего! На переду две клетки: тигра сидела, и еще полосатенька какая-то... а сбоку лев головастый ехал, в другой клетке. Они всю дорогу и дрались лапами, через прутья, рыкали все. Девка на них визгнет – гей! – они и поутихнут. Говорила – без глазу нельзя оставить: клетки могут разворотить. Схватятся через прутья, так все и задрожит, вот-вот прутья посыпаются, разорвут нас звери. Остановились ночевать в поле, огонек развели. Кости они все грызли, кровяные... рвут друг у дружки, рыгают, из пасти у них воняет... не дай-то Бог. А Катичке занятно. Все мне так: «где это, нянь, видано... куда попали!» И сдружилась она с той девкой. Та наряд надела, почесть что голая, только в сапожках... в висюльках-бисере, все ляжки голые у бесстыжей... к тигре при нас входила, с одним хлыстом! Тигра на нее раззявится, зашипит, а боится, на брюхе припадает, глазищи дремучие... ни мигнут. Я даже глаза закрыла, страсти. Катичка и говорит: «и я к тигре хочу!» Молила ее, – никак: хочу и хочу. А девчонка еще задорит. Ни жива ни мертва, сижучу-плачу... а та вошла, хлыстом погрозила, – манит. Катичка и вошла. Уставилась на тигру, – тигра на лапы и припала... на Катичку так, только усы дрожат. И тигру заворожила! Побранила я ее, она д говорит: «Глупая ты, каких уж мы людей видали – и целы остались, а тигру чего бояться, она простой зверь».

Насилу-то Катичка рассталась, сдружилась очень. Катичка им подарков накупила, тру-бок... девчонке янтарные бусы отдала, а та ей колечко серебряное, колдунское будто... для любви, от

себя даже оторвала, вон как. Все Катичка говорила: «так бы с ними и ездила... вот это настоящие люди, не продадут». И мне, правда, они понравились.

LI

Ну, приехали мы в Париж. И не в гостинице стали, а в оте-ле... три покоя, ваннные... – несметных денег стоит. Тут уж она и закружилась: и газетчики, и дилехтора, и... И приходит к нам человек, и шустрый такой, а глаза хи-трые, как у вора. Говорила она ему, а он все кланялся. Я еще ей сказала: неприятный какой, на жулика похож. А это, барыня, сы-щик был, – в Америке уж узнала, – из воровской конторы, про Васеньку дознавался. Все она и знала. Это кто-нибудь уж научил, звезда, может, какая. Они тоже, звезды-то, ух какие прожженные. Потом она и проговорила мне: в Америку давно уехал, Васенька наш... на анженера иликтрического учиться. Вот ей в Париж-то и не особо хотелось... – такую она неприятность получила! А вот, доскажу. Уж она все от сыщика узнала: из банка ушел – деньги каки-то папашенькины разыскал, машины они покупали в Англии, для углю... он и уехал доучиваться. Как-то и говорит мне, смеется: «собаку во сне не видела? друг придет, – упомяла мою приметку. – Гарт наш завтра приезжает, рада?» Говорю – хорошему человеку всегда рада. Ну, приехал, стал навещать. Последние он деньки догуливал, в далекую ему службу ехать. Все в театры с ней ездил, прогуливал ее. Только приехал, – дилехтор американский к нам, знакомый Га ртов, – бумагу и подписали, в Америку сыматься, на другой год. И вот что еще случилось. Масляница была. Катичка гостей назвала, в отель. А мне из нашего ресторана блинков принесли, с икоркой. Поела блинков, чайку с апельсинчиком напилась, – прилегла. Катичка и входит с Гартом, вся воздушная.

в жемчугах. А ей из юлирного магазина несметной цены жемчуг принесли, американский богач купил, из уважения... на мигалках ее видал... в три петли жемчуг! и карточка приколона: «прошу в гости, в Америку ко мне». Самый идол и был, говорила-то я вам, вон когда еще ее углядел, в Пари-же. Да вот, дойдет дело...

А я в комнатке прилегла, мне в зерькало и видать. Сели они в салончике, иликтрический камин калился. Прилегла Катичка на качалке, Гарт ей под ножки скамеечку подсунул, а сам не садится. А ей холодно будто, накидочкой меховой закуталась. Он и стал урковать, а она пальчиками закрылась. Я и поняла, – к сурьезному уж пошло. Поурковал ей, стоит – дожидается, какое ему решение. Она вынула из сумочки зеркальце, бровки направила – поулыбалась... так и просияла ему. Он даже назад подался. Протянула ему ручку, – будто к иконке приложился. И опять они вниз пошли, пировать. Воротилась вскорости, что-то ей нездоровилось. Апельсинового морсу выпила, и говорит: «Гарт опять предложение мне сделал, только не приставай, голова у меня болит». Не стала ей докучать. Что ж, думаю, двадцать пятый годок пошел, самая пора замуж, перестарка кому нужна. Да только... подумала, он хоть и складный такой мущина, а годков уж под пятьдесят, что там ни говори, уж с надсадом. Легла она, кашлять стала, знобит ее... велела иликтрический круг засветить, ножки погреть. Ра-но встала, кофю пустого выпила. Я ей – куда ты, куда? – все она покашливала. Ни слова не сказала, укатила. К обеду воротилась – прямо в постель. И чем-то, вижу, расстроена. Щечки горят, жар сильный. Велела за доктором послать, – професора нашего, знаменитого, старичка. Приехал, а у ней со-рок градусов! Горчишники велел. А он простой, ласковый, все ей так: «вот, сударыня моя, напрыгали себе простудку, а болеть нечем, тельца-то совсем и нету!» А она голодом себя морила, нельзя им располнеть, звездам, а то и жалованье убавят. На волоске от смерти была, – воспаление оборвал, знаменитый-то. А наследство у ней плохое, все графы ихние от чахотки помирали. Консилимы были! – выходили. На третью ночь, слышу, – бредить начала: «святоша, монашка горбатая... змея злая... ложь все... где письмо?...» В Америке уж она мне покаялась – у католички была. Та ее приняла – нельзя лучше. А про письмо сказала –

нет письма, брату отослала. Ничего от нее не добилась Катичка, – живой камень, самая изуитка-змея. Понятно, не надо было ездить. Это ее болезнь погнала, не собралась.

Стала поправляться – велели ей на тепло ехать. Мы и поехали в Ницы. Недели не прожили – Гарт приехал. А уж его генералом сделали и графом. Король наградил. И велел ему король к этим людоедам ехать, в Э-ндию, страх наводить, что храбрый он такой. Высокое ему место вышло. Вот он к нам и пристал. Пристал и пристал: поедомте и поедомте со мной, я вам самое страшное покажу, чего никто не видел... и слонов покажу, и обезьян покажу...

А это он нас заманивал, Катичку приучить к себе. Стал уговаривать: да вам поправиться нужно, а тут зима, а там всякие цветы теперь, и теплынь, – всякие чудеса увидите.

ЛII

Ну, думалось ли когда, в Кудрине я жила, в Москвето... в Эн-дию страшную попаду! Это у нас лавошница рядом жила, Авдотья Васильевна, она все умные книжки читала, про разные земли-города, и где голые совсем ходят... слушать страшно. Придешь к ней чайку попить, а она и скажет: «вот есть какие люди, людоеды называются, на деревьях живут!» – и картинку покажет, – глядеть страшно. И скажет, любопытная была такая: «нет, так мы тут в Кудрине и помрем, ничего не увидим!» Она очень образованная была, и на торговлю жаловалась, надоело ей за сборкой сидеть. Ну, скажет она так – чужие бы земли повидать, людоедов этих... – а я ей свое и свое: «как же это так, милая Авдотья Васильевна... от такой сладкой жизни, и к людоедам хотите! Это нехорошо, Господь накажет за неудовольствие». А она такая умильная, мечтающая... глазки закатит, вздохнет так... и скажет: «ах, Дарья Степановна, вы не можете этого понять... это только тонкие люди понимают, самые образованные».

Ну, вот и повидали мы, и всех людоедов повидали. И она, матушка моя, досыта повидала, и супруга потеряла, и сын без ноги. В Эн-дию-то попали как?... Понали, барыня, в самое ихнее Рождество попали, в индей-ское! Ну, сон и сон.

И повидали мы, барыня, чудес всяких. Кругом света поехали, в Эн-дию эту и попали. С музыкой нас встречали, и солдаты ихние на конях, и слоны головами нам мотали-кланялись, хоботочки все поднимали враз, и на коленки падали перед нами, ушами хлопали. Ученые елоны. А я вправду все людоедов опасалась. Смирные-то они смирные, и полиции было много, а все-таки не ровен час... что ему в голову взбредет, людоеду-то страшному! Там за город один лучше и не ходи, закон такой. Гарт нас предупреждал:

«Я, – говорит, – хоть и могущественный, а поручиться никак не поручусь, у нас без городских не ходят, особенно молодые барышни».

Ихние короли, людоедовы, утаскивают к себе, в жены... и уж никакой силой не отыскать! так запрут, на тыщу замков, и тигры стерегут, как у нас собаки, нарочно обучены. А у них короли ихние по сто, говорят, жен имеют, и это им по закону полагается. За семью воротами живут. Повидала я ворота ихние... Чисто вот Кремль у нас. И церкви у них все с башенками, по семь да по восемь ярусов, одна на другой. Туда и не доберешься.

И всего-то он, Гарт, нам показывал, все рассказывал, все возил. А с ним стража военная, все в белых одеяниях, красавцы такие все, в белых касках, из хорошего полотна, из голандского. Из людоедов набраны, обучены. Уж как настоящие люди стали, и им харчи хорошие отпускают, они и обошлись. А строгие, не дай Бог. А без стражи никак нельзя, на каждом шагу разбойники, да людоеды, а то тигры... а то змеи... самое змеиное там место. Да не вру, барыня, а истинная правда. Мы такую змею видали... не больше четверти, серенькая сама, а головка с ноготок, черненькая... ее солдат тот сапогом убил. Закусывали мы под палаткой... – чего-чего только не возили за нами! и палатки, и ковры, и качалки плетеные, на деревья вешать... гамаки, вот-вот... и всякие припасы, чего только душа желает, – ну, закусывали мы, она к Катичке и подобралась. А всю траву мужики наперед выскребли и жаровню по земле возили, змей-то этих выжигали-выпугивали, – подобралась она, стерва, из-под коврика вывернулась, гадина... А то бы Катичке

в пять минут смерть была! Гарт так и посинел, руку тому солдату пожал, хоть у них это и не полагается, Катичка говорила... и большую награду пожаловал. Глядели потом ту змею, – не на что глядеть, а вредная.

По горам ездили, по лесам... и на носилках носили нас тамошние люди-людоеды, – голые-разголые, а тут обвязочна. А на головах у них цельные простыни намотаны, от жары. Тут зима, а у них лето, жара-жарища, потела я все там, – льет и льет, вся мокрая. И самое Рождество! Ахнула я, как Катичка мне сказала, – подошло наше Рождество! Заплакала я – никакого Рождества нет. Солнце палит, голые людоеды ходят, обезьяны эти в лесу визжат, будто мы в ад попали. Плакала я, а Катичка и говорит:

«Тут индейское Рождество справляют, сладкие пироги пекут, с огнем».

И верно, барыня, с синим огнем подавали нам, ром горел. Пудинг называется. Но только мы это Рождество в городе справляли. Катичка на балах с подружками танцевала, а я все плакала.

Забьюсь в хоромы... – нам дом отвели в восемнадцать комнат! И в каждой комнате у дверей ихний человек, в простыне на башке, стоял-сторожил, чтобы змеи к нам не зашли. Он у двери стоитнаблюдает, а я плачу-заливаюсь, одна сижу. Так и справила Рождество, молитвы все прочитала, какие знала... церкви-то нашей нет. И звону не слыхала, и тропаря не слыхала...

Все шептала, упомяла: «разумейте языцы и покоряйтесь... с нами Бог!» В сад выйдешь погулять, а идол тот за мной, с ружьем-с-саблей... – это ему Гарт приказал. И три людоеда за мной с креслом с раскладным, и с опухалом с огромным, с зонтиком из рогожки, чтобы не жарко было, и еще в кувшине воду со льдом носили. Измучилась я там. Они боле недели свое Рождество справляли. И повез нас Гарт в далекое место, чудеса показывать. У нас пятнадцать человек казенной прислуги было, а у Гарта... – ты-ща прислуг, вот как. Так живет, так живет богато – царь яе царь, а королю не уступит. Три человека у нас было к зонту приставлено, из ихней мочалы сделан, для прохладения ветер делали..., все тамошние люди, из людоедов... ноги то-нкие, чисто шиколотные, головы в простыне. А то змеиный у нас лакей был, который всякую змею знает, как обойтись с ней. Как спать ложиться, он все комнаты обойдет, и у него порошки курительные, духом их выгоняет, куревом. А то начнет в дудочку дудеть, она и вылезает на дудочку, не может удержаться, страшно ей, что ли, делается. Он ее сейчас такими щипцами – цоп! – в жаровню прямо. Так там и зашипит, зло-то ее все... а она жар кусает, глядеть жуть. А то к нам старик ихний приходил, «змеиный царь» называется... змей при нас затоварил-мурлыкал... и все змеи как палки делались. Он их за хвост прямо, чисто сучья какие соберет, чисто закастенеют! Святой, по-ихнему. Пять лошадок было для Катички, и при каждой лошадке молодой мальчишка, голый, а в сапогах, и стыдное место у него кисточками завешано, стыда у них нет на это. Да что с людоедов спрашивать... И еще с ней две барышни-англичанки, мисы... дочки чиновников при Гарте, очень воспитанные, – все они и гуляли вместе.

Вот и повез нас Гарт в дремучие леса, на край света, ихние церкви показывать, старинные, выше наших. И людоеды, а и у них Бог есть... а идолы-то наши вон все церкви у нас позакрывали. И лестницы широкиеширокие, идешь-идешь, а внутри ихний бог сидит, идол каменный, на пупок на свой глядит... и все цветы кладут, монахи ихние, в белых балахонах. Там не крестятся, а столбы крутят: кто больше накрутит, тот и угодит идолу. Всего-то-всего видали. И вот тут-то мы и повидали обезьянов, в самое наше Рождество. Будто это нам в какое указание: вот, дескать, и глядите: то у нас «возсия мирови свет разума» пели в церкви, и благовест какой был, и вы – люди господни были, а вот вам за грехи ваши – идол сидит, на пупок на свой глядит, и обезьяны вам поют-воют, и солнце палит заместо хорошего морозу... – индейское Рождество вам! Ну, как все равно в наказание, для испытания. И обезьяны на людей похожи, а зверюги, образ-то Божий потеряли. Ну, будто что намекает: так вот и вы можете потерять. И верно, барыня... сколько же народу образ-то Божий потеряло, в России нашей... другие хуже самых поганых людоедов стали. Правду скажу вам, я там от людоедов худого слова не слышала. Один ихний людоед, в лавочке торговал... как пойдешь мимо лавочки, он вот так руки на живот приложит – и мне поклон! И пряник мне раз подарил, денег не взял... при Катичке бабушкой назвал: «ты, – говорит, – хорошая бабушка, очень с лица приятная, на

мамашу на мою похожа!» И они понимают хорошее обращение. А меня капитан морской, как мы в Костинтинополь приехали, сироты... за ворот ухватил! Есть и из людоедов хорошие, и одежды не носят, а... А капитан морской тот с золотыми тесемками был, самый заграничный. Хуже обезьянов – образ Божий кто потерял. Всего, барыня, повидала.

Приезжаем в самое глухое место, где обезьяны водятся, в царство в ихнее, в обезьяново. Глядим – по деревьям сигают, не боятся. Да палками в нас оттуда, да вроде как яблоками, шишками. Нам еще человек крикнул, – «голова берегите!» Гарт пальцем сделал – четыре «солдата к Катичке, балдахин над ней подняли, побережь. А она – „ах, хорошо! Милые какие обезьянки!“ А те визжат, орехами паляют. Приехали в пусто место – и ночь. Те-о-мная-растемная. Ну, стали мы на ночлег... только навес стоит, и стен нет. Кровати нам разложили, огни зажгли, а кругом стра-жа, места там строгие, не дай Бог. А эти обезьяны свадьбу, что ли, свою справляли. Солдаты нам говорят – свадьба у них теперь. Набралось их на деревьях видимо-невидимо, крик, визг, будто нечистая сила поднялась. А подальше – тигры ходили, за обезьянами трафились, рыкали страшной страшно, а близко боялись подступиться, стража у нас с ружьями. И слоны там дикие водятся еще. То ученые есть слоны, городские, бревна таскают, видала я... и князей ихних возят. А тут дикие самые слоны, глухие. Их только не тревожить, а то они добрые, тамошние люди говорили. Вот, поужинали мы, легли спать... А огневые мухи еще там, так и сигают под навесом, – ну, чисто искры: пожару я все боялась, не привыкла. Только глаза завела, – бац! бац! – стрельба пошла. А это солдат в обезьяну выстрелил. Да она на дерево взвилась, в руку он ей поранил, и кровь на рогожке мы видали. А вот что было.

Мы еще за ужином видали: сидит обезьяна на суку, совсем близко, сидит – все на нас глядит, помаргивает. Росточком с хорошую собаку будет. Снизу ее фонариком осветили, – ну, она повыше убралась. А все сидит. Глядела-глядела, да и кинула в Катичку цветком, – вот такой огромный, белый, с хороший вилок будет, пахучий очень. Прямо ей в шейку и попала, смеялись мы. Попала, да как визгнет, – рада, что сбаловала так. Нацелился солдат, а Гарт воспретил, Катичка закричала – не надо убивать! Гарт и сказал: «вам, говорит, и обезьяны даже цветы подносят, нравятся им вы... это, говорит, у нас бывает... и даже уносят барышнев». Ну, посмеялись и забыли про обезьяну. А она, подлая, не ушла, запряталась. Как уснули, она, никто и не слышал, и забралась под навес... и нож будто у ней в руке был, – где уж она раздобылась?... – на три шага к Катичкиной постельке подобралась... – солдат-стража и увидал! Бац! – руку ей прострелил, нож и выпал, – истинный Бог, не вру. На дерево взвилась-стеганула – ищи ее. Всю ночь не спали. Там, говорят, обезьяны к себе уносят, в супруги, вон как!

А то еще... покойницкая река там, покойников по ней возят, такой закон: на бережку сожгут, а пепол на воду пустят. Вот царицу ихнюю и жгли. На высоких дровах она лежала – горела. И монахи в трубы над ней трубили, вера у них такая.

Два месяца выжили там.

Ехать нам, Гарт задумчивый все ходил, скучал. Ну, она в Америку его пригласила, через год. Там, говорит, дело и порешим. С музыкой нас провожали, Катичку на умного слона посадили, в часовенку вроде, – как царевна лежала там, в золотых туфельках, вся беленькая. А меня голоногие на себе помчали. Ну, сон и сон. А мне как-то, правду сказать, стыдно было: сколько он для нее старался, а по его не вышло. Намекнула ей, а она мне: «да он и так счастливый, два месяца живую меня видел, а не на картинках».

ЛIII

Опять мы в Париж приехали. Ну, в мои ли годы мотаться так! Хожу по комнате – и качаюсь; на корабле все еду. Лето подошло – к Кислой она надумалась, не сидится: хочу тебя Кислой

показать. А чего меня казать, – давно, небось, и забыла. – «Она тебе обрадуется... улитка наша к ней приползла!» – «Какая-такая улитка?» Тут она и сказала: Кислая так прозвала меня – улитка. Вон с кого она переняла-то, говорила-то я вам – все она меня улиткой обижала. А душа у ней добрая была, у Кислой нашей.

Ну, повезла меня, а она в деревне живет. Приезжаем... полон-то двор собак; чуть нас не разорвали. Не узнала я ее: и прежде костлявая была, а тут – одни-то зубы. Заплакали они обеих, и я заплакала: вспомнила, в спокойное-то какое мы жили. Недельку погостили, все они не могли наговориться. А я с мамашей ее сидела, вязала. Ее паларич разбил, виблию все читала. Скажет чего, а я подакаю. Уж так хорошо, покойно, ни шуму, ни гаму... поглядишь в окошечко – гуся по лугу гуляют, индюшечки. Чайком меня поила, с брусничным вареньицем... душу я отвела. И угощали хорошо: и ветчина у них своя, и индюшку нам жарили, с брусничным вареньем, вот какие кусищи клали. Так живут, – позавидуешь, до чего же хозяйственно. К июлю, пожалуй, были, а уж другой покос там. За все годы радости такой не было. На сене, на солнышке, задремала, а теленок и подошел, подол мне жует! Так и заплакала, захватила его мордушку, поцеловала... и пахнет так же, как наш.

А там мы к немцам поехали. В хорошем пансионе жили, у старушки. Там я и отдохнула. Тихая у них жизнь, и по-нашему готовят... – и пироги, и куличи, и гусь с яблоками, с капустой, и огурчики у них. На Рождество Катичка на горы уехала, зиму глядеть, а мы с немкой елочку убирали, развлекала она меня. И там Катичку почитали, ихние студенты ночью под окошком пели, а она им цветочков бросила. И портреты ее печатали: она лихую женщину представляла, всех мужчин разоряла, и генерал ей бумаги украл казенные и застрелился. Видала я, – в ванной она сидит, а генерал в окошко бумагу ей дает. Отличали-то за что? Да за манеры... и глаза такие у ней. Там все глазами надо показывать. А она, девочкой еще была, глазками красовалась все. Раньше за это за косы трепали, а нонче вон деньги платят. Пожили у немцев – в Америку надо ехать, бумага у ней подписана. Уж так не желалось мне, а нельзя Катичку оставить. А попросись – она бы, может, меня оставила.

LIV

Семеро мы суток плыли, – помру, думала. Одна вода... куда ни гляди – вода и вода. В Эн-дию-то?... Ну, и сравнения никакого, в Эн-дию! Ну, тоже вода, да там в разные земли заезжали, дня не проходило, – все-таки страху такого нет: и корабли ходят бесперечь, и землю рукой подать, и вода-то совсем другая, и море там святое... Катичка все мне рассказывала: то Иги-пет, куда Богородица Христа от Ирода спасала, то неподалечку Старый-Русалим, – не видать его, правда, а все неподалечку... – и святые пустынные на горах спасались, мимо самых святых пустынных проезжали, там уж место все освященное, как можно. А тут не море, а оке-ян... В Америку-то ехать, за всеми океянами укрылась. Семеро суток плыли. Да погода пошла, такие-то бури поднялись, свету не видать. Наш корабль был – глядеть страшно, какая высота! сколько лестниц, окошечек, хуже другого города; одна лучше и не ходи, заблудишься. И все там, ну что только тебе угодно: и музыка, и магазины торгуют, и на велосипедах катаются, и в шар играют, и лодки громадные на корабле, в случае чего спасаться, тонуть начнем. И каждому пояс надувной, на стенке у нас висели. Как погляжу на пояс... – неуж, Господи, в океян меня скинут с ним! А в океяне во-лны... вот насмотрелась-то! – выше дома. Лежишь в каютке... всю меня истошниловывернуло, все и лежала я, лимончик только сосала, семь день живой крошки не было во рту... лежишь и слушаешь: бу-ух... бух! – за стейкой-то бухает, вот пробьет. И скрипит, и трещит, и в глазу мельтешится – прыгает, качается по стенке... – кажется, в ад бы прыгнула. А Катичка еще меня страшит: «вот, как начнем тонуть, я на тебя грудной пояс нацеплю, вместе и скинемся – поплывем... а там нас киты-рыбы и проглотят, как Ионов». Ей-то уж не в диковинку, да молодое дело, занятно ей, а я угодникам все молилась: Господи, только

донеси! Уж и время не вижу – все, будто, ночь и ночь, зеленое такое, будто уж под водой мы. А она все на музыку уходила, танцевать.

Стали к Америке подходить, буря уж поутихла, публика повеселела, кричат – глядите Америку! А не на что и глядеть: дым и дым. А это фабрики, все, дымят, – одни-то фабрики, вот и гляди на них. А все, как оглашенные, радуются, платочками машут, – не видали добра. К земле не подплыли, а к нам уж ихние люди влезли, с корабликов, с американских, обступили нас с Катичкой, записывают-кричат, – прямо собачья свора! И карточкито с нас щелкают, и за пуговицы хватают, и... Один, шустрый, пристал и пристал ко мне, чисто вот клещ вцепился, по-нашему меня спрашивает, исхитрился, ндравится ли Америка. Сказала ему – ничего не ндравится, дым один. Так и заскалил, в книжечку стал писать. И еще подскочили тут, пальцами в меня тычут, по плечу даже хлопали. А тот, липкий, и про года спросил, все ему надо знать. А у меня в глазах зелено, на ногах не стою – качаюсь. Все допросил, карточку в руку сунул... а сам грязный-разгрязный, воротнички изжеваны, – и опять меня по плечу: «теперь будете американская бабушка, у нас таких и не видывали еще». Так это мне неприятно стало: и на Америку еще не ступила, а уж за чуду какую приняли. И Катичка расстроена чего-то, – затормозили.

Высадили нас, дилехтор американский встретил, цветы поднес. А как же, уж про нас телеграммы были, еще раньше, все уж они и знали – звезда плывет. Там это все налажено, как можно... денешки на таком деле зашибают, – все-го теперь повидала, знаю. И на мостовой опять – и все-то с книжечками, и все-то сымают-щелкают, шагу ступить нельзя. Уж и не помню, как меня в автомобиле сунули – помчали. Одни стены, неба не видать, свистит-гремит... А это и над головами машины мчатся, – ну, ад и ад. Как я в номер попала, как на лифтах меня подняли, – не помню и не помню. Катичка кричит – «гляди ты, куда попали!» Глянула я в окошко: земли не видно, стены да башни, и все окошечки, да дым, да крыши... – на двадцать-тый этаж взвились, подумать надо! А уж к нам человек стучится, раздеться не успели: «Я, – говорит, – ваш земляк, русский... всякое поручение могу, извольте карточку вам на память!»

Оборотистый такой, шустрый, глаза веселые. Сразу он мне пондравился, свой человек. И одет ничего, прилично, красный галстук, и шляпа котелком, деловой. Самый и был Абрашка, жид-еврей, тульской наш. Так и сказал, очень чисто: «Я, – говорит, – из самой Тулы, тульские пряники жевал... и звоните мне в телефоны».

Уж так пригодился нам, сказать нельзя. Поду-мать, барыня... хавос такой, как сумашедчие бегут-мчатся, голову потеряешь... – а тут свой человек, русский, и все-то знает. И надо же так быть – тульской, и я-то тульская, земляки мы. Уж так я рада была: не потеряемся.

Дня три покою нам не давали, газетчики. Так уж там полагается: на свежего человека накидываются, как голодные вот клопы на постояльца. А Катичка довольна: первое дело, говорит, газетчики тут, для публики расхваливают, шум шумят. А это дилехтора их насылали, мигалки-то вот изготавливают. У Катички всякие карточки разобрали, все поразузнали... – не успели мы осмотреться, нам уж газеты подали. И там уж про нас написано, ахнули даже мы: как успели! И Катичка моя, чуть что не во всю газету, мазаная-то мазаная, коричневая. А на другой газете – синяя, и вот какие сережки, жемчуг, – сами привесили сережки. И ожерелья написаны, живая вишня. Будто дилехтора так велели. И меня будто напечатали, узнать нельзя: удавивши словно, язык высунут. Катичка как взглянула – так и покатила, за животики схватилась... – что удушенная-то я, на мои слова. Я тут ей и сказала: «ничего смешного, а вот, погляди, хорошего нам не будет... и всамделе как бы не удавили». И дачу нашу в Крыму пропечатали, и как голодали мы, и... – про все прописано. А про меня написали – девяно-сто будто мне годов, и при Катичке неотлучно, и шляпок я не ношу, что грех это. Что Катичка им насказала, они на свой лад все и вывернули. А это там так требуется, антересу больше.

С неделю я никуда не выходила, боялась очень. Подойду к окошечку – и назад, голова кружится, с высоты. И будто наш дом завалится. А Катичка с первого дня зашмыжила, часу не усидит. Да, забыла я вам сказать. Только в Америку приехали, она уж и расстроилась. А вот. Во

всех газетах было про нас написано, что вот, мол, знаменитая звезда едет, на таком-то корабле, на самом на главном, в главной каюте... и везем мы со-рок сундуков-чемоданов!.. Ну, слыхано ли дело... со-рок сундуков! Наплели-навертели – разберись. А дурак один, наглый, Катичка говорила, чего же написал... Стыдно, барыня, сказать... – сколько этих у Катички, и этих вот, в кружевках, нижнее бельецо... вот-вот, комбизоны, и шелковых чулочков пять дюжин... и каки-то еще, самая страмота... фасон подпирать... тьфу! До бельеца добрался. Половину наплели, больше дюжины чулочков не было. Ну, написали – приезжаем, мол, а Василий Никандрьч нас и не встретил. А она думала – встре-тит нас. С намеку я поняла так, прямо-то она не сказала. А там жизнь такая оглашенная – и расстроиться время нет: и к нам народ, и в телефоны звонят, и приглашения всякие, и так шмыжут шмыгалы, чисто голодные собаки рыщут, урвать бы как. Какой с ней бумагу подписал, в Париже еще было, на полгода порядил, – Слон по фамилии... – верно, барыня, такая его фамилия Слон, и Катичка смеялась, и похож на слона – носатый, толстый... – парадный обед устроил, показывал ее ихним богачам и знатным, в газетах чтобы больше печатали – шумели. Приехала домой, – такое, говорит, было... в сказках только. Во льду они пировали! Да уж так устроено... и холоду не было, а во льду. И цветы живые во льду росли, и фрукты во льду, и шинпанское вино... и она из леду вышла, ледяная царица будто. Несметных денег стоит. И все начальники были, и богачи все, и короли даже ихние... А вот такие, короли, так все и говорили. Ну, может, невзаправдашные, вы-то как говорите, а короли называются. Верно вы говорите, по торговой части, вспомнила, американские короли. Там их так почита-ют...! То железный король, а то еще карасиновый, весь себе карасин забрал... и спичкин-король, и... на все короли имеются. Все там и были короли, она всех и завоевала. А один так от нее и не отходил, сто у него газет. И его все боятся: не пондравится ему какая, он и сгубит, плохое пропечатает, говорит. Увидал ледяную-то ее, глаз с нее не сводил, даже ей неприятно стало. И что же сказал ей, подхалима: «Вы, – говорит, – небесная звезда, ослепили нас!» Такое богатство, говорит, – с ума сойдешь. А она уж не мало повидала, а и то задивилась, – значит, в самый мы в ад попали, в золотое царство. Повидала я... Господи, золотом у всех там глаза завешаны, только его и видят, со всего свету туда сбиваются. Папаша Абрашкин, Соломон Григорьевич, жила я у них потом, так все и говорил: «Это не в Туле у нас. Я небогатый был, а там меня почитали... а тут мне грош цена, будто селедкин хвост я^ и вы, Дарья Степановна, две копейки стоите... тут по капиталу почитают». Вот Абрашка его все и хлопотал – капиталы нажить. Машинка у них стояла, пакеты на лавочки клеила, и еще он порошок надумал, что-то они толкли, от поту облегчает... сколько коробок по лавочкам развозил. И все хлопоты у него. К нам вот и заявился, помогать. А ни копейки с Катички не брал. Она ему сказала, а он смеется: «Не беспокойтесь, я на вас денежки зашибу». У-у, такой-то оборотистый... в короли, говорил, достигну.

LV

Катичку прямо замотали, – туда, сюда. А газетчик главный билеты в театры все присылал, ухаживал. А ссориться нельзя, может загубить: пропечатает во всех газетах – плохая звезда, мол, стала. Ухаживает, глупости говорит, – стала Катичка опасаться. А он, говорят, ни одной-то звезды не пропустил. Господь нас охранил, ноги у газетчика отнялись, его и свезли в больницу, паларич его стукнул. Наслушалась я там, Абраша нам все рассказывал: эти звезды... богачей имеют, содержантов... и с дилехторами у них такое, на подержание даются, для славы, и для денег, – вот куда моя Катичка попала. Ну, кругом ямы эти страшные, во сне-то мне приснилось. А в Катичке... и что такое, будто секрет такой, так вот и тянет всех! И Абрашка меня стращал – остерегал, дай ему Бог здоровья: «Красавицам у нас хорошо живется, как сыр на масле катаются... – так все говорил, бывало, – легкое только сердце надо».

Про Васеньку... Нет, думала она. Нашла я раз под подушкой у ней сафьяновый складничек, а там карточка его, в Севастополе еще сымался, Намекнула она опять – не встретили ее знакомые... – я и скажи:

«Да у нас кто же тут знакомые... один разве Василий Никандрч. А он, может, стесняется... вон ты какая стала, а он что же, бедный человек, бьется небось... тут офицеру не служба...» – попытать ее.

«Не плачь, – говорит, – он хорошо устроился, анженер стал, им тут дорожат очень». Все-то знала, от сыщика своего, из воровской конторы. А он по этим вот... поют вот безо всего? Вот-вот, машинки делает, ланпочки. Вот-вот, радики эти. И у него будто ламбалатория, ланпочки они работают. Хорошее ему жалованье положили.

Ну, хорошо. Приходит как-то Абрашка к нам, а ее дома не было... и человечка с собой привел. Стал просить – допустите человечка с вами поговорить, ему надо рублик заработать, бедный совсем. Да у меня, говорю, нет рублика, чего он от меня попользуется?

«А вы, – говорит, – не беспокойтесь, и вам ни копеечки не будет стоить. Вы много повидали, скажите нам чего-нибудь страшное. Он будет знакомым рассказывать для скуки, а ему за это рублик дадут».

Пожалела я человечка. А чего ему страшного сказать... Сказала, как добро ни за что меняли, про Якова Матвейча, скрючило его как, от жадности... кой-чего набрала. И про Васеньку, как нас в Крыму от большевиков спас. Он, говорю, при фабрике тут служит, а мы не знаем – где, анженер он... и он, должно быть, про нас не знает, а то бы непременно нас разыскал. Они мне враз – мы его вам разыщем! Стали кричать, руками махать:

«Он звезду спас! Мы тут много рубликов заработаем, и всем приятно будет, как можно! Такой клад нароем... как его фамилия, чем занимается?...»

Сказала, чего знала. Да в голову мне пришло, так сказала:

«Он бы мне так обрадовался... няня из Москвы, мол... очень желает повидаться».

Они мне – обязательно мы его разыщем! А Катичке я ни слова, сюрприз будет. Дня не прошло, читает она газеты и смеется. А нам все-то газеты подавали, чуть где про нас написано. И давай мне вычитывать, по-нашему. А там про все: и как садовника скрючило, от земли померзаразился, а Катичка будто за ним ходила... так у ней на руках и помер, у звезды... – надумали так. И как матросы заграничные буу у меня рвали и чуть меня в море не утопили, за буу... приплели все, чтобы пострашней... и про полковника Коврова, который знаменитый анженер и там-то служит, в компании... как он от большевиков спас Катичку-звезду. А то бы, говорит, никакой бы у нас звезды не было, а теперь имеется звезда самой высокой славы. Ну, так наплели всего, диву даешься. И разговор свой с Васенькой прописали, и в каких он брюках, и как на кресле сидит... очень, говорят, обрадовался, что няня его из Москвы к нему приехала, сироту воспитала и разыскивает его, сироту... а он такой деловой, газет не может читать, а все только в ламбалатории сидит, ланпочки разыскивает. Катичка даже рассерчала:

«Это откуда? Ты это наболтала-наплела?!»

Сказала ей – человечка я пожалела, а они вон бознать чего и наплели. Газетчики, уж известно.

А тут Абрашка с тем человечком газеты принесли. Ничего, не бранила их Катичка. А они рады: газеты, говорят, так довольны, антересуются... нет ли еще чего?

«Тут, в Америке у нас, про страшное очень любят, только давай».

А они уж и у дилехтора Катичкина побывали, у Слона, и он тоже доволен, – шумите как можно больше, – сказал. Чего-нибудь и с него сорвали. Газетчики, уж известно. Ну, я им и про татарина рассказала, как нас спасал, и про змею, и как обезьяна ножиком нас запороть хотела, и как Катичка к тигре ходила... – вот они руки потирали, на коленках записывали! Побежали, как сумашедчие...

«Мы, – кричат, – так вас распрославим, вся Америка ужашнется, до чего страшно!»

И Катичка ничего. А вечером – телеграмма нам, от Васеньки: можно ли зайти, проведать?!

Смотрите, барыня... а? как вышло-то?! То будто у них так все и расклеилось, а тут опять

Васенька... нас-то, главное, разыскал. Вот газетчики-то чего сделали... такие-то ловкачи-пронеры!..

Велела Катичка лакею позвонить: в воскресенье, мол, вечерком...

Воскресенье пришло, простенько так оделась, велела чаю подать, сухариков, а сама уходит. Я ей – куда ты, куда ты, – а она мне: «он тебе обрадовался, няня из Москвы приехала, вот и поговорите, – смешком так, – а я успею». Опять за свое. Сижу, жду гостя. А квартира у нас богатая, салоны, цветы, портреты ее наставлены... Приходит Васенька, не узнала я его. Усы сбриты, в пенсех, франт такой, и не военный уж, а как всякий хороший господин. Сразу меня узнал:

«Ня-ня... милая, как я рад... и вы в Америке очутились!..»

Поцеловались с ним, родные будто. И все, говорит, вы прежняя, в платочке, моды не признаете... – пошутил. Оглядывает салоны, а ее нет и нет. Говорю – сейчас должна быть. Ну, поговорили мы... Их компания, говорит, завод у французов ставит, и его, пожалуй, пошлют с дилектором, к лету, может, уедет. Все на часы заглядывал. А ее нет и нет. Арап нам чай принес на подносах... Ох, не любила я их, с глазу на глаз боялась оставаться. Чисто собака грязная. По чашечке выпили, она и входит.

«А, здравствуйте... повидались с няничкой?...» – так это, запыхалась.

А он так вытянулся, сразу видно – военный он офицер. А я и вышла, а сама слушаю. Доложился ей – так и так, в Америке живет, газет не читает, дела все. Ну, чай пили, разговаривали, как кавалер с барышней говорят. Часик посидел, просил дозволения навещать. Дозволила ему: приходите, только скоро сыматься едет. А тут к нам идол и прицепился.

LVI

Самый тот, в Париже жемчуг ей подарил. Стал цветы присылать, во дворец к себе приглашать. И к нам заедет, и... И Слоны что-то зачастил, дилектор. Приехала я из церкви раз, Абраша меня на автомобиле отвозил, гляжу – Слоны у нас горячится, бумагой трепит. А это сбивать стали Катичку, идол тот, от Слона отказаться. Нового дилектора привез. А он несметный богач, всех может загубить. Сидят они, Абраша и прибегает, Катичка его куда-то посылала, – из прихожей и увидал, идола-то. Так и ужаснулся. Спрашивает меня: да неужто он вам знаком? А как же, говорю, не знаком: вон сидит – трубку сосет. Он даже за голову схватился. «Это такой человек, такой человек... на всю Америку двое только таких, половина всех денег у него!» И Слоны прибежал, все они бумаги на столе трепали. Абраша и говорит: «захочет Шалаш... – фамилие его такая – Салаш-Шалаш...? – от Слона только перья полетят». И сбили Катичку. Шалаш большой штраф Слоны заплатил, а на своем поставил. И стал к нам бывать, будто свой человек стал. Ох, не любила я его, – бугай страшный. Морда бурая, кирпичом, а зубы не золотые, а железные будто, те-мные. А она ни чуточки не боится, так все: сумочку подайте, перчатки подержите! И вот какие портреты ее в газетах печатать стали, царей так только печатают.

Скажешь – «глядит на тебя нехорошо, зубами жует... плохая примета, как человек все жует». А она – «надоела, отвязись... тут все жуют». Своеволка такая стала, издергалась, так вот и рвет, и мечет, и что такое с ней – не пойму. Двадцать шестой пошел, а судьбы нет и нет. И все на нее глаза пялют, а идол – так вот и хочет съесть. Ну, подписала новую бумагу, и ей еще два месяца отдыхать. А Васенька к нам и к нам, старое поднялось. А тут Шалаш приглашает-заезжает, знакомство большое стало, временем уж и не собразится. Скажет Васеньке зайти, а ее дома нет. И у него время занятое, ему и горько. И такой тоже беспокойный стал, сурьезный. Спросила как-то – нездоровится, может? – «Да так, – говорит, – с войны, в голову вступает». А он откровенный со мной-то был...

«Ах, няня-няня... лучше бы мне не видать Катерину Костинтиновну, спокойней. Все будто кончилось, а вот...» – губы закусил, гру-устный стал.

Ушел, с неделю не приходил. Она его в телефоны воззвонила:

«Вы что, обиделись... перепутала я? Меня на части рвут, ничего не могу поделать. Приходите проститься, скоро я улетаю».

Ну, пришел. Ничего, ласковая была.

«Хочу с Шалашом вас познакомить, слышали о нем?»

«Как не слышать, хам известный», – Васенька-то ей.

Она их и свела у себя, в гостях. А после и говорит:

«Пондравились вы Шалашу. Хотите, на первый завод вас определит?»

«Не хочу, – говорит, – я уж определил себя».

«А-а, гордый вы!» – посмеялась, любила его раздражать.

А то вызвала как-то, – «приходите, что-то мне нездоровится». Пришел, хороших конфет принес, любимых ее, трюхельков... а она на бал собирается, модистка ее убирает. Сел, коробку на столик положил. Выбегла она, плечики голые, вся такая юрливая, платье серебряное, камушки горят, – ну, как мушка какая золотая, – так и обомлел. А она ему, удивилась будто: «а ведь я спутала, на бал мне надо! или вы спутали?» – «Я, – говорит, – никогда не путаю», – обиделся. Ну, ласковая стала... – «простите, переоденьтесь-поезжайте, будете моим кавалером на балу!» Помялся он, – «извольте, – говорит, – ежели вам приятно...» Велела ему прямо на бал ехать, а за ней кто-то обещал заехать. Он прямо отшатнулся даже. А тут арап огромную коробку, чисто корыто, конфет принес, и ландышки, в серебряном кувшине. А это от Шалаша, он каждый день присылал гостинцы. Растерялся Васенька – и коробочку свою взял, пошел. А идол ему навстречу, в прихожей они столкнулись, друг дружке помычали. Провожая Васеньку, а он мне коробочку дает: «вам, няня». Сказала я после Катичке, на другой день, – она словно расстроилась, закусила губку. В телефоны ему: «чего на бал не приехали? а я вас ждала, обещали! придите, мне надо вам сказать что-то». Пришел. Только вошел – она ему... криком, прямо!

«Вы что, на это корыто обиделись?! – на Шалашову коробицу, – трюхельки мне принесли... складкожке отдали?! – и губка у ней дрожит. – Говорите!..»

Ну, покался он, сказал – смутило что-то. Она на него кричать!

«Корыто вас смутить может?! Вот как! Дай, нянь, трюхельки, а тебе Шалашовы!»

Он и слова не мог сказать. Да много она так с ним, крутила: то притянет, то швырнет. А то велела ему в театры придти, а сама на еропланах улетела, дилектор ее повез поглядеть чего-то. Через три-дни вернулась. А он ее в театрах не нашел, к нам пришел. Говорю – улетела, велел дилектор. А он все голову потирал. Сказал так: «надо все это кончить!» Сказала я ему – «и она сама не своя, расстроена...» – а он мне прямо, начистоту:

«Засела в нее заноза, ничего не поможет. Прощайте, милая няня, мне здесь не надо бывать... я ей все напишу».

Я его уговаривать, – нет, ушел. Вернулась она, я ей и сказала. Она в телефоны: «ошибка вышла, придите!» Ну, пришел – бле-дный, глаза нехорошие такие... Она ему – «вы сами напутали!» Он голову потер, смотрит, и голос у него не свой: «я, – говорит, – не пойму... что напутали?» Она его растерехой назвала, вывернулась: «на той неделе, – говорит, – велела притить в театры, а вы вон как!»

«Чего вы такой рассеянный, а? влюблены в кого?...»

Он даже и не поглядел на нее, отворотился: «не влюблен», говорит.

«Очень рада, – говорит, – можете уходить, у меня голова с еропланов кружится, хочу прилечь».

Ну, ушел. А утром письмо прислал. Прочитала она – расстроилась. Села сама писать, все рвала. В спальную заперлась, так и не написала. Три-дни не звонилась в телефоны. Я ей и сказала все, как он говорил, про занозу. Она мне – «не лезь не в свое дело!» Обидно мне стало, накричала я на нее:

«Как так, не мои дела? Всю жизнь с тобой мыкаюсь, по свету меня таскаешь, а – не мои дела!..»

Не железная я, всамделе, всякое терпенье лопнет. Не поверите, барыня, я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество... – голова вся запуталась. И в церкви не была, чисто

я бусурманка. Пять день прошло, писала все – рвала. А тут дилехтор приехал. Велела сказать – больна. Сидит – кутается в мех, один нос видать. В телефоны звонят! Вскочила... а это дилехтор: завтра на службу лететь, в мигалки. Она ему – больна я. А у них строгий штраф, чуть что. Шалаш прикатил, стал гавкать, – она на него как крикнет, – он головой боднул – уехал. На другой день они двое прикатили, – не приняла. Отсрочку ей дали, из уважения. А то бумагу грозилась разорвать, это уж потом узналось, Абраша мне рассказал. Он тут тоже сколько мотался с нами. А ей уж еще четы-ре дилехтора бумагу подписывать давали! Уехали они, она сразу за телефоны. Как вскрикнет!.. – чисто ее укусило что. На кресла упала – побелела. Я – Катичка, Катичка... – она не дышит! И дома никого. Выбегла я на лестницу, а человек бежит сверху, перо на ухе, конторщик. Кричу ему, а он не слушает. Я его за руку, и потащила к нам, а он вырываться стал, напугался. Все-таки я его втащила, показала на Катичку. Побежал доктора позвать. А там их, на каждой лестнице, как собак. До доктора еще она обошлась. Тут и началось страшное. А вот...

LVII

А это Васенька заболел, ей в телефоны сказали. За руку меня схватила, дрожит, зубами стучит... – «няничка, едем... опасно болен... проклятая я!»

Покатили мы за город. Подъехали к заводу, а нас не пропускают. Она кричать...! Велели пропустить. А его уж в больницу свезли, дилехтора. Мы в больницу, в другом конце, сады где... – его в мозговую больницу положили, за голову-то он все хватался. Да, на фабрике еще нам сказали: «он для нас нужный слуга, мы его на хорошее лечение послали». Ну, в конторе нам отыскали его: в саду, флигелек, дача будто, в елках, место самое тихое, белая вся больница. Вышла смотрительша, записала нашу фамилию, – «я, говорит, вас хорошо знаю... только навряд вас доктор допустит, опасно болен». Пришел доктор, тоже все чего-то жует... как вскинется на нас, стро-гой очень: «никак, без памяти лежит анженер, я за него отвечу канпании! у него воспаление мозгов, сотрясение от войны, не могу допустить!» Закричала на него Катичка – «взглянуть хоть дайте!» – в расстройстве таком, понашему ему крикнула, а он не понимает, выпучился на нас. Ну, сказали мы ему по-ихнему, – дозволил. Повели нас. Чистота, сестрицы-синаторки, бе-ленькие, хорошенькие все, туфли велели мягкие, не шуметь. Привели в палату, а там темно, – в теми его держали! – чутошный огонечек синий, будто там упокойник лежит. А близко не допустили, а то испугать можно. Лечение такое, американское, мозги вот когда горят. И ти-ишь... под простынькой он, как упокойник, и на голове лед в пузыре, и сестрица неотлучно, за руку держит. Коленка у него стойком, только и видели. Третий день без памяти. Спросила Катичка доктора, а он рукой так, – ничего не могу сказать. Катичка так и закаменела. Обещали нам позвонить, что – как. Тогда и в собор ездили – молебен Скорбящей Радости служили. Артист тот и прицепился, говорила-то я вам. Два дни все не звонили нам, а мы знали, что хорошего нет, Абраша нам все справлялся. Приехали из собора, а нас он и дожидается, руки потирает: «радость вам, доктор знакомый мне в больнице, сам мне сказал – анженер ваш в сображение пришел, через два дни можно повидать!» Владычица-то услышала, просияло нам солнышко. И артист тут-как-тут: «это я вам счастье принес, позолотите ручку!» Дала ему Катичка на радостях бумажку. А он – хи-и-трый, и говорит, грустно так: «что деньги, милиены через руки проходили, а один пепел остался! мне теперь деньги – что мертвому греку пиявки ставить». А только давай. И к Шалашу прицепился, все у Катички дознавал про Васеньку. Думается мне так, уж не нанял ли его идол следить за нами. Да что, барыня, – благородный! Был благородный, а теперь чучел огородный, совести-то нет.

Ну, доктору позвонили, а Абраша напутал, – раньше недели нельзя, говорит, тревожить. А ей лететь срок подходит, дилехтор требует. Шалаш прикатил, серебряный самовар привез, по квартире ходит, хозяин будто. Гляжу – Катичку по плечу – так это мне не пондравилось. А Катичка – все про Васеньку в телефоны. И идол, гляжу, тоже в телефоны, хозяин чисто. Стал

кричать, а потом ощерился, и говорит Катичке, – она мне после сказала: «я сейчас для вас миллион сделал!» – сам будто делает! А она ему так: «что мало? сто бы миллионов!» Сказала – по делу нужно, и шмыг. Он выпучился на меня – не ждал, как она обошлась-то с ним, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть меня хотел, прямо. Он ей вот какие бриллианты прислал, при карточке солидный господин привозил, с ихним городовым, а то все там жулики стерегут, как бы кого ограбить. Она и не приняла. Господин так рот и разинул. Шалаш приехал... – «почему отказали? жемчуг мой приняли в Париже...?» – «А каприз у меня такой, тут не Париж!» – вон как. Даже поклонился ей, шелковый совсем стал. Артист тот все ей говорил – «вы из него золотые веревки вить можете!» – известно, в карман заглядывал, шантрапа.

LVIII

Позвонили нам из больницы: можете приехать. Приехали мы. Его уж в светлую комнату положили, в сад окошки, воздух такой приятный, и цветы, и аквариум с рыбками, совсем на больницу непохоже. Уж он в подушках сидит, лимон желтый. Винограду привезли, полезно ему. Сестрица нам говорила – все война ему виделась, голову ему жгло, все кричал: «сорвите эту коробку!» – про голову. Обрадовался нам, зубы още-рили, будто из гроба только. Ягодку взял – пососал. А руки – косточки как играют, видно. Заплакала я от жалости. Не до разговору ему, язык еще не налачился, с губами не совладает. Сказал мне:

«Знаете, няня... вы меня из огня вывели... за руку меня взяли, и воздух я услышал, кончился мой огонь черный».

Ишь, черный огонь виделся ему! Велели нам уходить. Катичка все за руку его держала. Сказала – «поправляйтесь, а завтра я на работу уезжаю». А это он во сне меня видал, из огня я его подняла, – молилась за него. Она еще у него была, без меня. Приехала, говорит: «на квартиру его перевезут, ты с ним побудь». Ее воля, а я рада родному человеку пособить. Только непривычна я при мужчине-то, засомневалась, угожу ли. Стали мы с ней прощаться, все ей и отчитала:

«Долго, – говорю, – у вас мытарничанье это будет? Чуть до смерти не довела... он мне сказал – кончить лучше».

Она на меня – что ты мелешь? А я, сердца не удержу, все ей и выложила:

«Заноза в тебе засела! В Москве сама ему отказала, а если чего было, его воля. А он тебя любит».

«Не ври! – она мне. – Не отказывала я... какая была, такая и осталась, романов не было... и хочу верности!»

«Сама, – говорю, – не знаешь, чего хочешь, сумасброд ты. Письмо смертное тебе давал, не пожелала читать, от гордости. Все он мне печалился – зачем письмо не распечатал! Весь свет за занозу свою отдашь, а не покоришься. Все вы гордые, самодоволы, образованные... И папочка с мамочкой всю жизнь себя и других терзали... все мы да мы, все переделаем по нас! Вот и переделали, мызгаемся... от гордости наvertели. И ты, от гордости, человека не проникаешь. Уж у меня с тобой сил не хватает, уеду я от тебя! – заплакала я, барыня, уж у меня жилочки здоровой не осталось. – Все вы ненастоящие, – говорю, – под людей только притворяются, на себя радуются только. Самодоволка ты, уеду от тебя, не могу!...»

Сердце тут у меня схватило. За доктором она, а я и себя не помню, по полу ерзаю. Доктор-мальчишка прибежал, дал каплев, а мне хуже от каилев. Повезла она меня в клиники, к ихнему первому профессору, а там за неделю прописаться надо. Дала секретарше сто рублей, нас и допустили. Четверо меня глядели, хорошего не сказали. Строгие капли велел, лежать в постели. Сиделку мне взяла. Абраше велела в телефоны ей звонить, а сама улетела.

В голову тогда мне: уехать надо! – дума такая одолела. Подумала – соскучится, приедет ко мне скорей, а то будут канитель влесть, да и Шалаш пристаёт, в кабалу ее заберет. И страшно стало:

ну, помру я тут, в страшной земле! Спать не сплю – надо ехать, лучше будет. А сиделка, сидит – зевает, а деньги ей плати, и разговору от нее нет. Абраша прибежит – хоть в дурачки с ним сыграем, поговорим. Полегчало маленько с каплев, я и велела сиделке уходить: плати ей двадцать пять рублей на день, да еще харчи наши. А она не желает уходить, присосалась: не вы меня нанимали! – Абраша мне рассказал ее разговор. Он тогда за нее взялся, уломал, слава Богу, дали ей сто рублей – только отступись. И стал меня утешать.

«И чего вам одной расходовать тут, мамаша дорогая... – все он меня так: мамаша дорогая... мать-то у него померла, – к нам перебирайтесь, у нас и воздух легкой, и в садике посидите, и папаша с вами поговорить может... а тут с барышни дерьмя-дерут, а мы бы и щи варили вам...» А тут Васеньку на квартиру перевезли. Абраша сундуки наши куда-то свез, а меня к Васеньке перевез. Да недолго я пожила при нем.

LIX

Приехала я, в креслах уж он сидит. «Вот, – говорю, – доктор наказывал за вами походить... – Катичка так сказать учила, – все-таки свой человек, повеселей вам будет». Обрадовался: «спасибо доктору... очень рад, милая няня, погостите у меня». Хорошую комнату мне дали, теплую, и постель раскладную, из шкапа могла делаться. Главный анженер зашел, на меня поантересовался, за руку поздоровался. Недельку пожила – в синаторию Васеньку послали, на поправку. Много-то мы с ним не говорили, он больше свое думал. Рассказала ему про Гарта, как нас возил. Он и сказал:

«Катерине Костинтиновне не скучно теперь, много возле нее народу».

«Да крутится народ, – говорю, – а какая была, такая и осталась, как хрусталец чистый... ягодка свеженькая, без поминки».

Поулыбался даже, пощурился.

«Люблю, – говорит, – вас слушать, няня... говорите, говорите...»

Говорю – «надо бы уж как-нибудь разобраться вам, порешить, а то что хорошего, чисто вы журавь с цаплей». А он мне как надьсь, сказал:

«Нет, заноза засела, все она будет мучиться. Не захотела тогда прочитать, а теперь поздно».

С языка у меня и сорвалось: «она и у той католичкизмеи была, ничего только не добилась». Он словно и не поверил: «не может этого быть, гордая она таки, и пошла к такой...!» Да, говорю, больная была, в жару. Так он расстроился, и я-то расстроилась – обеспокоила его. Ну, увезли его в синаторию. Абраша к себе перевез меня, и осталась я сиротой. Дали мне комнатку-уголок, и старик мне пондравился, заветный такой, борода по грудь, Соломон Григорьич. Такой развлекательный, все разговаривали мы с ним. Кой-чего я ему сказала, доверилась. Все разобрал, по ниточке... – у-мный старик: «По всему вижу – лучше вам уехать в Париж отсюда, Дарья Степановна». Подумала и про вас – совета попрошу... вы эти дела лучше кого другого знаете, про романы. Старик только беспокойный, к старшему сыну рвался, Абрашу все корил: «закону не соблюдаете, глядеть на вас – глаза слепнут». А он старинного завету, правильный. По-новому у них все, – старик и скучал. Четверо детей, их к машинке сажали, бумагу совать; пакеты они клеили. И невестка подпихивала, и старик помогал, и меня для скуки обучили. И порошок потный сыпали мы в коробки, а Абраша все по делам, тыщи делов у него. Да какую-то бумагу стал покупать... биржи, что ли. Старик все ему: «пролетишь, Абрашка, с этими биржами!» А Абрашка все Катичку просил: «дознайте у мистера Шалаша, какую вам биржу купить, а про меня не поминайте». Шалаш ей и говорил, доставить удовольствие. Он и стал в деньги играть, шевровые полсапожки мне подарил! «Вы для меня золотое дно, мамаша дорогая!» – так все. Ничего, спокойно жила. Машинка только стучала, да клей они разводили, вонючий очень. В садике сидела, снежок потаял. А старик начнет поминать – жаловаться: «нет лучше нашей Тулы, я там на офицерей шил, спокойно жил». А как Пресню из пушек били, и в Туле у них шум был, он и напугался, к сыну в Америку уехал. А там женина родня в Палестины

свои сына-то сманила, он и звал старика к себе, а Абрашка еще на ноги не встал, старик при нем и жил. А старший правильно закон соблюдал, старик и рвался к нему. Весной собирался ехать. И у него карточка висела, любил глядеть: Тула наша, и солдаты с барабанами стоят. Все говорил: «на Московской улице магазин у меня был, вывеска золотая, – „портной Соломон“... а что я тут? селедкин хвост я тут». И мне все, бывало, говорил:

«Вы по колоколу – звону, Дарья Степановна, скучаете, я знаю. Вы к порядку привыкли, вам тут не годится, тут жизнь другого покрою, беспардонная».

И в собор меня провожал. Доведем, а сам в свою пойдет, а то так погуляет, подождет. Вот, думаю, и попутчик мне, в Париж ехать, на что лучше. Спать вовсе перестала, надумываю всего: ну, помру, – меня и сожгут! А там покойников все жгут, земля дорогая, за место цельный капитал отдать надо, да на сро-ок, ведь... а не будешь платить – и выкинут. Это не как у нас, на вечное владение, а будто за квартиру платишь. Думаю – сожгут, и крестика надо мной не будет, чисто собака я. А и зароят – забудет Катичка заплатить, косточки мои и выкинут, а то на завод отправят, пуговицы точить... – Абраша меня пугал все. И аппетита нет. А они хорошо кушали. Старик и щи уважал, и поклеванный доставал, анисовый... и селедку копченую, и ки-льки... И хлеб они подавали вкусный, шафрановый, а в душу не идет. Стали сумлеваться: брезгую, может, ими. Все говорили: «не брезгайте нами, у нас чище кого другого».

LX

Приехала Катичка отдохнуть, увидела меня... – «что с тобой, няничка, похудела как?!» Да что со мной... жизнь такая, веселая. Опять мы в дом переехали, на высоту. И все не сплю, все думки мои – надо мне в Париж ехать. Не вытерпела, сказала: «сердись – не сердись, а отправь ты меня в Париж, не хочу в земле в этой страшной помирать, сожгут тут меня». Она даже испугалась:

«Да ты что, с ума ты сошла? Лучше я тебя в сумашедчий дом отвезу».

«Чего меня отвозить, – говорю, – тут и так сумашедчий дом».

Стала кричать на меня: «что ты своеволка какая стала, скандалицица? чем ты, чумовая, недовольна?» – «Спокою у меня нету, – говорю, – весь свет наскрозь прошли, а все мало... довольно с меня, и чугун когданибудь лопается».

«Нет, ты больна, чушь городишь, в Париж тебе захотелось! ишь, какая парижская... по трясушке своей соскучилась, по Марфе Петровне? косточки не с кем перемывать? Нет, ты больная».

«Надо же когда-нибудь и заболеть, – говорю, – не железная я, жилки во мне здоровой не осталось. Отпусти меня в Париж, и знакомые у меня там, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю...» – много я ей сказала.

Нет и нет мне покою, думы одолели: ну-ка, наш дом завалится! И сердце заливает, не продохну, – капли все пила. Катичка ночью, бывало, встанет, считать их надо, строгие очень капли. И с тела спала, юбка не держится, – она и затревожилась: «ты страшно, нянь, похудела... уж не сурьезное ли что? – глазками заморгала-заморгала, – поедем, одевайся». К лервому доктору повезла, от всех болезней. Он меня всеми машинками смотрел – пытал, и пальцы свои топырил, в глаза мне тыкал, все спрашиг вал – сколько пальцев? Будто я ему дурочка, двух его пальцев не усчитаю. И хребет становой давил, и под коленки стучал, и молоточком по косточкам пробирал, а Катичка меня выспрашивала, чего я чую... докладывалась ему. Две еще докторицы его со мной старались, раздеться велели, повели на ступеньку встать и каку-то доску приставили к животу, и выпить приказали, такую вот банку, сметана, будто... – такое лечение, американское. Изжога, говорю, бывает, – они и стали меня томить, в огромные очки на меня глядели, на доску на ту, а через нее будто все видать. И темно, и гудит чего-то... ну, иликтричество, уж известно. Больше часу меня томили. Главный руки помыл и все Катичке и доложил про меня: и сердце, говорит, хорошее, нельзя лучше, и мозги ничего, хорошие, и все

суставы мои хорошие, а самое главное хорошее, нутро мое... как у молодой, все равно, даже и невидано никогда, истинный Бог... а ни одной-то жилки здоровой нет! Ей, говорит, долгой спокой требуется, а то обязательно с ума сойдет. Так и сказал – подписал. Она ему и скажи: да вот, заладила в Париж ехать... нет ли чего в голове у ней. Стро-го так поглядел, помычал... «Отправьте ее в нашу синаторию, на цельный год, она покою хочет!»

Сказала мне Катичка – «вот, требуют в синаторию отправить к нцм, на цельный год», – я и заплакала. Ну, он как узнал, не хочу-то я... – хошь на месяц ее отдайте, мы ее всю рассмотрим, развлечем. Повезла она меня домой, я плачу-разливаюсь: вот, заслужила... в сумашедчий дом хотят засадить. Ну, она меня успокоила, – не отдаст, мол. А тут Соломон Григорьич проведать меня зашел. Узнал про синаторию, и говорит:

«Они вам на синаторию насчита-ют! Лечили так вот банкира одного, он и лопнул. Дарья Степановна мне известна... пустите ее в Париж, а то ее тоска убьет тут».

Умней не скажешь. А Катичка свое: «с ума надо сойти, ехать ей... она и на улицу-то боится выйти!» Артист пришел, про пиявку-то все... тоже заступился, напугал. «Она, – говорит, – на моих глазах, как спичка стала. Тут все старушки, как мухи, помирают, воздух вредный!» Ну, поняли мы – насмех он, балахвост, невзлюбил меня. Досматривала за ним, никогда одного в покоях не оставляла, без Катички как зайдет, он и фыркал. Ну, правда, барыня, что артист... да нонче он артист, а завтра в остроге от него отмахиваются. Вон бес-то тоже такой артист, а сразу жуликом стал, дачи чужие грабил... а этому колечко беспризорное приглядеть – и не вздохнет. Да ведь совести-то у них нет, барыня... под человека притворяются. Стала она тревожиться: «что ты в голову забрала... еще погибнешь, заблудишься!» Повезла в синаторию меня. Да нет... Васеньку проведать: будто соскучилась я об Васеньке. Поправился он, узнать нельзя. На горе место, снег... на санках они катаются, от болезни. Хорошо говорили, ни спору, ни... И говорит ему:

«Новости у нас, няничка наша с ума сходит, в Париж собирается».

Он даже не поверил, призадумался... – «что ж, – говорит, – значит, по ней так лучше». И он будто за меня вступился.

LXI

Уж она меня уговаривала, а я свое: «я, – говорю, – всегда покорная была, а тут ты меня послушай: каяться век будешь, ну-ка я тут помру! а там я с людьми посоветуюсь». – «О чем тебе советовать, какие у тебя дела такие?» – «У меня душевные дела, и поговою там... а ты по мне соскучишься, скорей из этого ада вырвешься». Билась-билась со мной... – «Ну, что мне с тобой, с чумовой, делать! в больницу тебя отправить, а мне жалко тебя...» – заплакала. И я заплакала. «Катюньчик, – говорю, – сделай ты хошь разок по мне, сама скоро ко мне приедешь, сердце мое говорит...» Прижалась ко мне, как рыбка затрепыхалась, деткой вот как была. «До зимы я пробуду тут, бумага меня связала...» – «А ты, говорю, возьми и выпиши меня, как соскучишься!» – весело ей сказала, сердце так заиграло, с чего – не знаю. Так она заглянула мне в глаза... «Ня-ничка!.. как же я тебя измучила! – будто тут только увидала, – прости меня за все, ня-ничка... прости!..» И заплакала-захлюпала, как маленькая когда была. Не могу, барыня, говорить. Вспомню, как на меня глядела... не могу.

Отпустила она меня. Всего-то мне накупила... и белья, и платье новое, синелевое, и часики мне на руку, непривышно так, а время все при мне будет, от скуки погляжу, – ну, всего-всего, будто она меня замуж отдает. И сласти всякие, винны-ягоды я уважаю... и монпасе любимой, банбарисовой, кисленькой. А она новые мне зубы поставила... – глядите, барыня, какие у меня зубыто, бе-лые, хорошие... все теперь есть могу, – орешков мне в дорогу. Абраша бумаги мне выправил, и ви-зу, и сундучок отправил, – садись только, поезжай. Да, забыла сказать... Анна Ивановна, милосердая сестрица, святая душа, письмо Катичке прислала, разыскала. Уезжать мне, а утром письмо нам подали, из Филь... вот-вот, из Фильляндии, убежала от большевиков.

По газетам узнала про Катичку и написала на Америку. Такая нам радость... хороший это мне знак был. Помнит меня: жива ли няничка наша милая, – спросила. А я жива.

И Соломон Григорьич со мной поехал. Старики ихние пришли проводить, и Абраша... и со мной хорошо простился, даже и не думала, какой душевный. «Скушно будет без вас, мамаша дорогая, привыкли к вам... такой уж не будет больше у нас, в Америке», – вон как, будто родные мы. Да ведь с одной стороны-то... А супруга его меня поцеловала, связочку на дорожку сунула, шафрановые булочки. На корабль все взошли, прощались. А мы с Катичкой только друг дружке в глаза глядели, говорить не могли. Загуде-ел свисток – велели им уходить, платочком все Катичка махала, и все махали... и не видать уж стало, дым только. А скоро я и тошниться стала, Соломон Григорьич заботился, все меня развлекал... даже нас за супругов принимали. Вот вам все и сказала, барыня. Напишите, может, ей поласковой как, присоветуете чего... не мне вам говорить, сами лучше другого кого сумеете. Два денька у вас нагостила, уж так довольна. И барину от меня низкий поклон скажите, дай ему Бог здоровья, в делах успеха. Покорно благодарю, уж беспрременно вас навещу, хорошего чего узнаю.

* * *

Здравствуйте, барыня-голубушка... опять к вам в гости, Господь привел. В ваших краях была, у генеральши Ширинкиной, – слыхали, может. Вот-вот, хорошая такая дача... только она комнатку сымает, у знакомых. Просвирку поручили мне передать, другой месяц она лежит. А я слободная теперь, все делишки поделала, по знакомым вот и хожу, дома не усижу. Ну, что вы шутите – помолодела! Помолодеть не помолодела, а как-то я растряслась, в Америку бы сейчас поехала... ездить уж обучилась, народу не боюсь. Есть, голубушка-барыня, как не быть новостям... у меня новостей со всех волостей, полон короб, в себе не удержу. Да уж такие, давно таких не было, на-люди просятся. А вот, уж по череду все, а вы и рассудите... а я-то уж не знаю, как и думать. Да, похоже, хорошо все.

Покорно благодарю, у генеральши пила, и закусила, а от чаю не откажусь. Палка на палку плохо, а чай на чай – пресенская качай, в Москве у нас говорили, бауточка такая. Да вот, расскажу. Кому и рассказать-то, как не... Генеральше я уж не стала рассказывать всего, она наших делов не знает, так кой-чего порассказала, порадоваться. А вы уж про все знаете, и рассказывать интересней вам. Спать не могу, чем-свет вскочу – куданибудь и надумаю пойти, на месте не усижу... сама с собой разговариваю, на бульваре посижу, воробушки слушают. Ну, вот... маленько задохнулась... как и начать, не знаю. А ведь я к вам каяться пришла, истинная правда, барыня... ведь я всего вам не сказывала, всей-то правды, про себя держала... примета у меня такая, расскажешь чего раньше – спугнешь наладку. Задумал чего – на-люди не кажи, про себя сторожи. Грех на душу взяла, утаила от вас маленько... самого-то главного и не сказала, уж простите. А теперь, дело прошлое, все скажу. Я ведь не попусту сюда приехала, в дорогу такую пустилась, не из капризу... оставила бы я Катичку! Ни в жись бы не покинула, а вот, рыскнула. А скажи ей всю правду, нипочем бы не отпустила. А вот, расскажу... Узнай она – веревкой бы меня привязала, я ведь ее как знаю... гордая она, нипочем бы не согласилась. А уж так мне Господь, на мысли послал – поехать. Я уж как сумашедчая тогда стала, не ела – не пила, ночей не спала... на страсти какие еду! Да не то что дороги я боялась... смерти я не боюсь, потопну ли, воры ли меня оберут-зарезут, – это мне ничего не страшно. Другое страшно... – к человеку идти такому... а он и насмеется, все на-пустоту и выйдет, сердце не выдержит, на страшный суд словно бы иду. А вот тут самое и есть главное. Вот я все и скрывала, от Катички, а она меня к докторам все. Ну, болеть – болела, да болезнь-то моя не телом, а сказывается, попятно. А он меня как напугал, в синаторию хотел запереть! Ах, забыла вас поблагодарить-то, барыня... Да нет, я самое главное по череду вам, а тут чтобы не

забыть я... Дай вам Господь здоровья, каждый день поминала вас. Авдоть-Васильевна-то... сыска-лась! Как вы тогда в газету напечатали, через два дни сыскалась. Сыскалась, милая барыня... знакомые показали ей, печатали-то вы... – тут она оказалась! Не в Париже, а... как это место... заводы там, забываю их слова? Мортаны, что ли... ржи...? Вот-вот, Мотаржи, самое это, верст сто за Париж наш. Как же, была у меня, две ночи ночевала. Комнатка ослобонилась под Марфой Петровной, взяла я комнатку, по-барски живу, и гости все у меня... и батюшка святой водой кропил, а то там агамит жил... лицо желтое-желтое, глаза косые... – он мне и освятил. Желанную мою приласкала, душу отвели с ней, наговорились. А супруг у ней в Белграде помер. А сын без ноги, офицер, новую ему сербы приделали, на пружинке. Лавочку там держали, от сердца супруг и помер, замаялся. Они сюда и перебрались к нам, место сынку за сторожа знакомые схлопотали. А она белошвейка, золотые руки. Два платья ей подарила, сколько сама от нее видала... а она стеснительная такая – не надо и не надо! Катичка вот приедет – на ноги их поставит, попрошу. А она по курочкам с ума сходит. И сынку бы способней, при доме-то, при хозяйстве. На курочек и копят. Да что еще... ро-ман-то какой выходит... – француз-лавочник в Авдотью Васильевну мою влюбился! Роман и роман страшный. Сынку двадцать семь уж, а ей сорок пять вот стукнет, да ей, правда, и сорока не дашь, – белая, глазастая, важеватая такая, и пополнела она, рассыпчатая такая стала, – а в поезде тогда встретила, она худая совсем была, не узнать, – и ростом вышла, и ротик форменный, не размякся, и морщинок ни одной нет... он в нее и влюбись! Вдовец, и богатую ему сватают, а он и слышать не хочет, все добивается. Хоть в лавочку, говорит, не ходи. Хотят уж перебираться оттуда, – проходу не дает, обмирает. Да что еще-то...! Казак увязывается, тридцати лет нет, чумовой дурак, полторы тыщи в месяц выгоняет... ходит к ним каждый вечер, образованные книжки все читает, придет и сидит – глядит. Да чего сказал-то: не выйдете за меня – застрелюсь! Не знает, что и делать. По секрету она мне, каялась: ндравится ей казак, да сынка стыдится. А казак ей – «успокою вас и сынка вашего, будете курочек водить, а я за вами буду ходить... красавица ты моя, выйди замуж за меня!» Два креста геройских, собой красавец, все французские девки с ума сходят. Хочет в Париж от него спастись, ее в ресторан зовут, к закусочному столу, аппетитная она такая, и с каждым обойтись может, расположить. Триста поклонов каждую ночь кладет, мысли гонит... – а все не худею, говорит. И что это я разговорилась, ненужное все болтаю. Ну, рассказала ей про все, она меня и укрепила в заботе-то моей. Разложила-разобрала... а она умная-разумная, умней нет... «Идите, – говорит, – Дарья Степановна, с Господом, не бойтесь. А наперед молебен отслужите Купине Неопалимой, гнев вас и не опалит... – а вот, послушайте, какой гнев... – и владычице Страстной отслужите, страха вам и не будет».

И погадала она мне. Хорошо выходило, только не скоро... в постели она лежит, больная. Да нет, не Катичка, слава Богу, а эта... самая католичка-монашка. Уж теперь скажу, барыня... правду я дознавать приехала, узел наш развязать, графья-то нам запутала, а горбатенькая, кузина, накрепко затянула. Да, барыня, поняли теперь... вот зачем я сюда попала. Все уж вы знаете, как истерзались мы... думы меня и одолели. Не выйдет у них, так и будут друг дружку мучить, заноза ее замучает... с горя бо-знать чего и выкинет, только себя погубит. Ведь она надрывная, в мамочку, и пистолетик вон завела. И молилась я, а дума меня точит, страсти все представляются. И надумала – надо до католички дойти.

Вы уж не! торопите, милая барыня... сладко мне говорить, сразу-то неутешно будет. Чисто я кошка вот. А как же – не повалявши, куска не съест. Радуюсь-то...? А терзалась я сколько, не помню – когда смеялась. Сколько у меня новостей... Анна Ивановна приезжает, Господь устроил, и Авдотья Васильевна со мной... и думаю так я, барыня, – все хорошее повернется к нам, сердце вот достучит ли только. Ну, что уж Господь даст.

Адреска я ее не знала, а спросить у Катички не могу, – ну-ка, поймет она! А фамилии у ней с графьней одинакая. Подумала – найдутся в Париже люди, граф Комаров всех князей знает, а то в адресном столе справочку наведут. Приехала к Марфе Петровне, говорю фамилию...

Галочкина-графыня, – и граф Комаров не знает: такой, говорит, у нас нет. Ну, разобрался он... Галицкая она, как вы вот говорите. Стал справки наводить, да старый, забывал все... – и очень она забила-то далеко, а под Парижем. А адресного стола, говорит, здесь нету, здесь только каждый свой адрес знает. И я терзалась все, и у вас-то была намедни, – не знала адреска-то. Авдотья Васильевна счастье и принесла: только сыскалась, вскорости Марфа Петровна адресок от графа Комарова и принесла: узнала я католичкин дом, монашки ихние живут где. А ей не сказала, а так – зандобилось, говорю, родные из Америки поклон прислали, снести надо. Единой Авдотье Васильевне сказала, – как себе верю. Она меня и поехала проводить, а то запутаюсь, без языка-то.

Ну, приехали мы с ней, – высоченный забор кругом, и ворота глухие, а в них калиточка, а в ней окошечко открывается. Богатое-разбогатое именье, сады все, старые деревья, уж распускаться стали, апрель месяц. На монастырь непохоже, а вроде как богадельня, колоколов не слышать. Позвонились. Подошла монашка, окошечко открыла, оглядела нас... – видит, хорошие мы люди, калиточку приоткрыла. Чисто так одета, в синем платье, белый кораблик на голове, трахмальный, – наряд ихний, мне ндравится. Спрашивает нас, по-своему, а я не знаю, как говорить, и Авдотья Васильевна тоже немного подучилась, все-таки поздоровалась. А она скромная такая, краснеет все, у ней слова-то и не находятся. Мы и подали бумажку: прописано звание ее, католички, – сестра Бетриса. Авдотья Васильевна хорошо ей сказала – «мамзель рюсь!» Она закачала корабликом, махнула за нас, – ничего мы не поняли. Поехали назад. Позвала я шофера, под нами жил, Николай Петрович, офицер... он хорошо понимать умеет. Поехали. Побеспокоили опять монашку, он с ней и поговорил, дознал. Она зимой еще заболела, католичка-то, ее в синатории послали, обещались в маймесяце вернуться. Больше месяца ждать. Погоревали – поехали.

Такая незадача. А тут письмецо от Катички, прочитали. Идола того пистолетом прогнала, – пишет, – очень наглый, и даже ей трюму разбил трубкой, очень горяч. Она его и выгнала пистолетом. А про Васеньку хоть бы слово. А тут и от Васеньки открыточку получила, с «Христос Воскресе», в Париж скоро обещается, с дилехтором. Не знала и не знала, что уж будет. Ну, поговела, встретила Светлый День, а Праздника нет и нет. Истревожилась, заслабела. Три раза мы ездили к монашкам, – все лечится. Просили монашку – письмецо прислать, приедет когда, и на марку оставила. Пасха у нас девятнадцатого числа была, по-ихнему считать, а я как раз на Вознесенье Господне открыточку получила, французскую... – у меня руки затряслись. Прочитали знающие, – приехала католичка. Только я от обедни, не ела, не пила – поехала. Повез меня Николай Петрович. Как я доехала, не помню. Вылезла из автомобиля, ноги отказываются, чуть иду. Николай Петрович мне: «на вас лица нет, Дарья Степановна, что с вами?» Дыхнуть не могу, сердце вот подкатилось. Как я пойду... не дойду до нее, пожалуй? Позвонился он, слышу – стучит монашка по камушкам. Смотрит на меня ~– признала. Сказала шоферу – спрошу сестру Бетрису, примет ли она. А у ней была записочка моя, кто такая сестрицу спрашивает. Посадил меня Николай Петрович на лавочку у ворот, а у меня губы дергаются-дрожат, плакать я принялась. Он мне – что с вами, что с вами?... – а я выговорить не могу. А он знал, что я сюда ежу: сказала ему – монашка тут католичка, наша русская, проведать мне наказали. Он еще сказал: «от веры отказалась! это все алистократы мудруют... она не из алистрократов?» – сразу угадал. А тут та пришла – позвала меня. Насилу я поднялась. Они меня оба подымали. А у них сук рубили над воротами, чуть меня не убило, упал сук... монашка на рабочего закричала. Думаю – не к добру, сук упал, за платок меня зацепил. Прямая дорога, плиты все, через сад, к большому дому... много там домов, старинные, серые. Лестницы...! Буду я помнить лестницы эти ихние, ступеньки каменные... пудовики в ногах. Меня уж монашка под руку подымала. И все-то лестницы, темные, старинные... холодок, а с меня пот льет. Вверх, а там вниз, а там через другой сад, напутано... и опять лестница, по колидорам шли, посадила она меня дух перевести... а навстречу монашки, тишь такая, только одеяния шуршат. А в колидоре канареечки пели. Повела опять, наверх... будто меня замотать хотят. А я

все Богородицу читала. Дверь высокая, черная, старинная... крест на ней белый-костяной, врезано так. Постучалась она, тихо... слышу – антре!

Открыла она дверь – дерева я увидела, сад... окна огромные, раскрыты, и кусты там, на солнышке, жасмин, пожалуй, – белые все цветочки. И воздух легкой такой, духовный, дорогими цветами пахнет. Осталась я одна, ушла монашка моя. Комната большая, высокая, синяя вся... чисто-та!.. полы паркетные, коврики... белая постелька, ангельская, а над ней большой черный крест, в терновом венце Спаситель, наклепленный, и ланпадка теплится... и столик, кружевцами накрыт, у изголовья... убрано хорошо так, и статуички на нем, святые... и картинки все по стене ихние, святые-мученицы. И еще столик у окна, раскрышной, а у столика на креслах она, книжку святую держит, вся белая, будто в сарафане полотняном, голова платочком белым повязана... же-олтая-желтая лицом, личико длинное, востренькое... волос не видать, а болондиночка словно, годов за тридцать. Уж потом разобрала я: маленькая-горбатенькая, и похрамывает. А собой милотвидная, ничего, тонкая-то-растонкая, сушеная прямо... ручка иссохла, восковая, глядеть страшно, и губы серые, поблеклые. Сразу мне бросилось, минутки не прошло... – она на меня глядит! Глаза черные, острые, так в меня и впились. Я ей с порожка ни-зко так поклонилась, на пол чуть не упала, ноги не слушают. Посмотрела на меня...

«Что вам угодно?» – по-нашему меня спросила, – голос осиплый, слабый.

А я просто одета, как мы все ходим, русские настоящие, – а праздник был, Вознесение Господне, – на мне серенькое платье было, шерстяное, московское, и легкая у меня накидочка, черная, шелковая... не со стекляруском, барыня, а другая, попарадней. Ну... что, мол, вам угодно. А я слова не выговорю, только – «барышня... милая барышня...» – больше не подберу, и слезы у меня. Поняла она – плохо мне, – подошла ко мне, за локоток взяла-поддержала...

«Вы такая слабая... садитесь, – говорит, – вот тут».

На стульчик мне показала, у дверей. Ничего, ласково так глядит, ждет, чего скажу. Усадила меня, а сама на свое место села, четки стала перебирать... длинные у ней такие, чуть не до полу. Сидит и считает-перебирает.

«Я, говорю, Дарья Степановна, Синицына, из Москвы... к вашей милости...»

Она молчит, ждет. А я не могу дальше-то, подкатило.

«Ну, госпожа Синицына, чего же вы от меня желаете? – спрашивает меня. – Может, вы нуждаетесь?»

Сдавило мне, у глотки, головой покачала, сама плачу.

«Простите, барышня... ваше сиятельство... – говорю, – ослабла я, дух не переведу. По делу к вашей милости...»

Пошла она к камину, водицы налить. А на камине крестики на горочках стоят, и статуички, и большое сердце висит, матерчатое, тугое, будто огонь красный из него, шелками сделано по камину, очень искусственно. Налила водички, дала выпить, а вода словно мяткой пахнет.

Поперхнулась я, забил меня кашель. А она глядит – ждет. А я все кашляю, сердце вот выскочит, дыхнуть не могу, в глазах мушки. Пошла она на свое место. И слышу, в тумане будто...

«Да вы кто такая, по какому делу?» – чисто так говорит, маленько только с запиночкой.

«А я няня из Москвы...» – говорю. Она будто удивилась:

«Чья няня, какая няня?., от наших родных вы?...»

А я заладила, слов не подберу:

«Няня из Москвы я... ваше сиятельство...»

«Так я и думала, – говорит, – что вы няня. У нас такая же няня была, очень похожа, только она давно померла».

Ласково так сказала, прояснилась... вспомнила, может, как она тоже русская была, а теперь католичка стала.

«Вам, пожалуй, – говорит, – много лет... и больны вы, милая няня».

Даже я подивилась, как она меня пожалела. И все Богородице молюсь, Страстной: умягчи сердце, утоли страх.

«Как же, барышня, ваше сиятельство... – говорю, – семьдесят пятый мне, и сердце у меня неправильное, боюсь всего...»

Ни с чего ей – боюсь-то. А она вострепенулась так...

«Да чего же вам бояться, тут ворогов нет... тут у нас добрые люди живут, успокойтесь, милая няня...» – ласково так, заплакала я с ласки.

«Знаю, – говорю, – добрые тут люди, святой жизни... к ним и пришла, Господь меня наставил... к вам, милая барышня... не к кому мне больше...»

Хорошо так сказала, Господь навел. А самое страшное и подходит. А сказать не умею, как... покладней бы, ее бы не обидеть, в гнев не ввести.

«Видите, – говорит, – сами знаете, какие люди тут... – чисто с малым ребенком. – Ну, что я для вас могу сделать, чего вам нужно? или у вас поручение какое, послали вас ко мне?...»

«Ни одна душа, – говорю, – меня не посылала... ни одна душа не знает, зачем и до вас дошла, я два месяца вас ждала, с тем и из Америки приехала...» – складно так ей сказала. Так она удивилась!

«Как, вы из Америки?! нарочно, ко мне?!. Вы же сказали – няня из Москвы, а говорите теперь – из Америки приехали??.»

А я и говорю, язык развязался...

«Это меня судьба носит, и я везде была... места такого нет, где бы я не была. Я, говорю, и в Эндии была, судьба моя такая, бродяжная-горевая... беспричальная... а сама я ту-льская, Тульской губернии, Крапивенского уезду... коли слыхали. Река Упа у нас там, с той реки я и буду».

«Как же, – говорит, – мы соседи с вами, именье наше было... – место одно сказала... погодите, барыня, вспомню...? – Соседи мы, Орловской губернии, Волховского уезду, и у нас река Ока... – сказала-улыбнулась. – Ока у нас...»

«Как не знать, – говорю, – большая река, а у нас махонькая, Упа. Я про ваше место очень хорошо слыхала».

А не могу сразу-то сказать. А она ждет.

«Ну, вы меня ждали. Что же вам нужно?»

«Милости вашей, ваше сиятельство... правды божией нужно, душевной милости. Ослобоните мою душу, милая барышня!..» – сказала, из себя вырвала.

«Ми-лости?! – так это, на меня, удивилась словно. – Я не понимаю, что вы говорите, какой милости?...»

«Душевной, – говорю, – вся истомилась-истерзалась, не сплю, не ем, на свет бы не глядела... с вашей милости подымусь, к одному бы уж концу, по правде только. В себе утаю, в случае чего... ни единая душа не узнает, по правде только... может, Господь по мысли вам даст...?» Вытаращилась на меня, не понимает, опасается меня словно. И правда, барыня, после-то я подумала, небось она меня за сумашедчую приняла.

«Успокойтесь, няня, – говорит, – скажите просто, не плачьте. Какой вам от меня правды надо, какой милости? Скажите, что я могу – я сделаю».

Тут самое это и подошло: всю правду надо сказать. И говорю:

«Я, – говорю, – Катичкина няня, и Васеньку вот какого еще знала, и вашу сестрицу знала... они меня обласкали, царство небесное, вечный покой...» – грех на душу взяла. Ну, какое ей царство небесное, мучается там, такой грех...

Она так это... с креслов поднялась, к окошку оборотилась. Тут я и увидела – горбатенькая она. И вижу – глазом все дергает, и губами так, – на щечке у ней жевлачки играют. Оборотилась ко мне:

«Вы где же мою Велентину видали?»

«А в Крыму видала... она меня, – говорю, – поцеловала, в самый тот день, как кончилась... оступилась нечаянно в овраг...»

Грех на душу взяла, неправду сказала, ее бы не тревожить. А она затревожилась, к окошку отворотилась, четками зашумела. А я молчу, себя не чую. Она и говорит, на сад:

«Такое несчастье... – по-ихнему стала говорить, не разобрала я... может, молиться стала, четки задержала, а я молчу, затаилась. – Такое несчастье... А как она вас видала, где видала... у кого вы жили?»

Я тут и предалась ей, раскрылась... – ну, что уж будет, один конец.

«Барышня, – говорю, – ваше сиятельство... помилуйте, окажите божецкую милость... и вас няня жалела, при вас бы была, коли бы жива была. И я всю жизнь при барышне своей, при Катичке моей...»

Так и настражилась! цветочки на окне стала теревить...

«Вы у кого служили, при какой барышне?...» – строго так.

Стала ей говорить, слезы потекли, не вижу ничего... сползла на половичок, не помню как... она меня подымает, слышу...

«Что вы, зачем... не надо, успокойтесь...»

«Не сердчайте, – говорю, – милая барышня, ваше сиятельство... простите меня, глупую... не к слову чего скажу, душу ослобоню...»

Посадила меня на стул, по плечу так, милостиво...

«Ничего, ничего... все говорите, не бойтесь».

Пошла от меня, на кресла села, книжечку открыла... и опять закрыла.

«Я, – говорю, – не сказалась им... измучилась на их терзанья глядеть, собралась – к вам поехала, уж один конец. Скажете чего – так и поверю, вечно Бога буду за вас молить... все вы знаете про сестрицу...»

Все и выложила, как Господь навел. Как каменная сидела. Откинулась на спинку, ручки так, крест-накрест, ножки вытянула, гру-устная-разгрустная. Ничего меня не перебивала, ни словечка. Всего где же сказать, а сказала – все она поняла. У-мная, по глазам сразу видно, – в себя глядится.

«Я поняла, – говорит, спокойно так, не ждала я. – И вы хотите всю правду... всю?»

«Как вашей милости угодно, что Господь вам на душеньку положит, – говорю, – мне помирать скоро, правду вам говорю – самовольством я все, надумала к вам... ни одна живая душа не знает».

Она, может, минуток пять молчала, четки перебирала. А я по стенам оглядываю... увидела Господень Крест, а на Кресте Спаситель; а на главке терновый венец, настоящий колючий... и Спаситель не написан, а настоящее Тело Христово, и колючки-шпы, и по главке кровь течет, от колючек! И она туда оборотилась, на Спасителя. Потом встала, подошла ко мне, положила ручку на голову мне, на платок...

«Няня... вы за правдой ко мне пришли...» – в глаза мне поглядела, в слезы мои поглядела... и вздохнула, – жалко даже мне ее стало.

А я ей про то письмо помянула, говорила когда... – правды, мол, мы не знаем, чего в письме, и она его не печатала, и мучается, а волю покойной не нарушала... а сумление в ней... они и мучаются. А горячее слово сказано, заноза и засела, му-ка... И про письмо не просила, правды только просила.

Ну, все она поняла, будто в душу мою глядела. Пошла к столу, открыла ящичек. Старинный стол, все-то в нем ящички. И вынимает... самое то письмо, с печатями, как власти припечатали, пять печатей! Признала я его, трепаное оно. Вспомнила, как трепали, и по полу-то валяли, и под тюфяк его прятала, руки оно мне жгло.

«Вот, – говорит, – вся тут правда. Дозволяю вам, прочитайте».

А я неграмотная. Сказала ей – заплакала. Подумала она, в окно поглядела:

«Хорошо, возьмите... пусть мне возворотят. Ничего больше не надо?»

«Ничего, ваше сиятельство, – говорю, – покорно благодарю за милость вашу».

Не помню всего, закачалась я, упала со стульчика... Она меня подняла, в колокольчик позвонила. Гляжу – монашки мне чашечку дают, тепленького питья, липового чайку. Две чашечки выпила, отдышалась. Она, милая, и говорит:

«Желаю вам, няня, спокой душе. А как успокоитесь, навестите меня, рада буду».

Ангельской доброты она. Ручку поцеловать хотела, она не далась.

«До свиданья, няня...» – сказала, ласково.

Вывели меня монашки, довели до ворот, – меня Николай Петрович ждет. Солнышко такое, птички поют, – ну, самое Вознесение на небеса! Довел он меня на шестой этаж, обезножела я совсем, дрожу вся... – не знаю, в письме-то чего написано. Марфа Петровна прибежала, – «что с вами, Дарья Степановна, на себя не похожи!» Лихорадка, говорю, треплет. К Авдотье Васильевне сил нет ехать, а письмо меня жжет, правда со мной вся тут.

Попросила оказать божещкую милость, телеграмму Авдотье Васильевне послать, – приехала бы, плохо мне. А не сказываю Марфе Петровне, чисто краденое храню. Она на язык невоздержная, пойдет трясти по городу, сказать-то ей про письмо... – вот я и притворилась будто. Да и правда, больная вовсе.

Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо под подушкой, покою не дает. Подумать, чего слово человеческое может! письмо-то. И не говорить, а... Поутру Авдотья Васильевна прилетела, напугалась. А тут Марфа Петровна вертится, чего-то чуёт, хочется ей узнать.

Шепнула я желанной моей, она сразу поняла, – к доктору едем! Мы и поехали, на бульварчик. Сели на лавочку, стала она мне письмо читать... а письмо-то француз-ское! Она и не понимает, буквы только может прочитать. Ну, что нам делать? К вам, барыня... да близкий ли конец, к вам! А у меня сердце горит, правду узнать. Надумала я: к графу Комарову, все может прочитать. А я у них бывала, помнила место хорошо, неподалечку живет. А он уж блаженный стал, всем услужить рад. Купила ему гостинчику – халвы четверку, халву он любит...

осьмушечку чайку, лимончик... наняли таксю, в две минутки нас подкатил. Денег уж не жалела. Застали мы графа Комарова, куколки сидит-красит. Поклонились ему гостинчиком. Усадил нас на ящики, – бе-дно живет, – на Авдотью Васильевну мою залюбовался. А она так графов уважала... в Москве все книжки про графов прочитала, антересовалась так, – а тут живой граф, в гости к нему пришли. А она застенчивая такая, сидит – разгорелась, розанчик живой стала, графыне не уступит... и шляпка у ней горшочком, – ну, парижская красавица прямо стала. Подали ему письмо ^– так и так, сделайте такое ваше одолжение, ваше сиятельство. Он и посмеялся Авдотье Васильевне моей: «А еще в Париже живете, как же так! Француз какой-нибудь вам приятное написал, про чувства, а вы не можете прочитать. Давайте, в месяц вас обучу, сами будете приятные письма писать».

Любовался все на нее, шутил. А нам уж не до шуток, едва сию. Ну, стал он читать прямо по-нашему, – ничего я не поняла. Авдотья Васильевна уж растолковала... а я и смеюсь, и плачу, хорошее письмо-то очень. Не выпустил нас без чаю, Авдотье Васильевне куколку подарил – русского молодца, пошутил: «лучше француза будет, как раз по вас!» Она прямо со стыда сгорела: казака ведь ей подарил! блаженный-то он... прочуял! Ну, попросили мы его сиятельство, графа Комарова, – уж будьте так добры, никому не сказывайте, это секрет наш тайный. А он смеется: «Как можно, я действительно тайный генерал, – вот-вот, так и сказал, вы-то как говорите, – советчик я тайный, – я, – говорит, – все тайны держухраню и советы подаю... вы в самое место попали, приехали ко мне».

Ножкой даже Авдотье Васильевне пошаркал, такой любезник. Она так и законфузилась. Ну, думалось ли когда, в Москве-то жили... вот и довелось, за ручку с графом поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мне растолковала, все я поняла, – камень с души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было, вот такое, вершочка три буковок. А вот чего написала, какая была правда... Значит, так: она, графыня та, не посмела сестрекузине неправду написать... католичка-монашка она, да смертное ведь письмо... самый последний человек не может неправду в смертной написи допустить... ведь правда, барыня? – она и не осмелилась солгать. Она всю правду истинную написала, горькую правду всю. Значит, так... – я, говорит, самая несчастная, и любовь моя была безответная, а я все на жертву принесла... Она, может, и думала, женится на ней Васенька, а он и разговору не начинал. Узнала она, – Катичка его невеста старинная, и опять у них дело сладилось, она и поняла: не на что ей рассчитывать

теперь, и жить надоело ей, и вот она самовольно и кончает жить. И все, и больше ничего. Так и написала: «прощай, сестрица-кузина, сил моих нет».

Свет мне тут и открылся. На почту мы с ней на таксе покатали, уж она командовала. Стойком там написала письмо Катичке, я ей говорила, что надо. А она начитана хорошо, складно очень написала, как в книжках пишут. А вот чего писала: «посылаю тебе смертное письмо... была я у католички, выпытала письмо, и вот тебе посылаю... ругай не ругай, а не повернешь... измучилась я, мне Господь навел мысли, с тем и поехала, все муки приняла, всю правду нашла... и ни один человек про то не знает, и Василь Никандрыч не знает, и теперь будешь знать, какой он верный тебе жених был...» Все ей сказала. Толстый пакет купили, и то письмо, католичкино, туда положили, послали страховым, не пропадет. И чтобы беспрерывно католичке возвратить, она очень благородно поступила, подалась на правду.

И смотрите, барыня... подалась ведь на правду! И слов у меня... ну, какие у меня слова, – а подалась. Тоже и у ней няня своя была, и с одной стороны мы с ней... Господь ее и наставил. Не пожалуюсь, барыня, все-таки ко мне люди снисходили. Всякого человека ласка берет. Сколько-то ден прошло – телеграмма мне! От Катички. Так руки и затряслись. А никого дома нет. Ночью уж, – а я сколько без памяти лежала, сердце совсем зашло... – ночью уж, Марфа Петровна воротилась с дачи, позвала соседскую барыню, она мне и прочитала. А то – лежу на полу, сил нет подняться... – думаю: помру – не узнаю! Ну, барыня каплев давала, положила меня на постелю, она и прочитала. А вот чего написано, на телеграмме... Ох... что-то, барыня, мне... ох... в глазах темно... мухи все... ох, Господи... Вот, покорно благодарю... водички... выпью... – Да не могу не... успокоиться-то... какое дело-то! Маленько отдышалась, лучше... Написала она, Катичка моя... – «милая моя ня-ничка... целую твои ручки... и глазки... старенькие ручки... скоро приедем оба... пишу тебе письмо... все хорошо». Больше ничего. Все...

Ничего это, барыня... отплачусь – легче будет. Не горевые слезы... все дни плачу... зарадуюсь – и заплачу. Ну, вот и все. На скатерку пролила, простите... руки какие, трясутся все. Покорно благодарю, не надо капелек, ничего. Вот и хорошо стало, чисто вижу.

С неделю тому – письмо. Сладилось у них. И слава Богу. И Васенька написал мне, и... рядышком написали, дружки. Ну, и слава Богу. А вчера телеграмма пришла... перепугала... – на корабль садятся! Сегодня у нас что... четверг?... Значит, вчера... в среду, на корабль садятся. Ну, и слава Богу.

Вот и хожу, расхаживаю себе... сил нет сидеть-ждать. Другую ночь не засну, сердце подкатывает, вот сюда вот... как ком стоит. Смотрю на часики на ее, вон какие хорошие... минуточки считаю, как тикают, стрелочка ползет. И все мне куда-то надо... все куда-то спешу-спешу... Ну, что уж Господь даст. Поминать вот все стала, лежу ночью... как она, Катичка моя... что ей, двенадцатый никак годок шел...? говорила она мне все, разумная такая, умильная...

«Вот, няничка, погоди... выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам... сама глазки тебе закрою... похороню тебя честь-честью... как ИванЦаревич... серого волка хоронил...»

Март, 1932 – март, 1933.